



Валентин Пикуль

**Через тернии – к звездам.
Исторические миниатюры**

«ВЕЧЕ»

2002

Пикуль В. С.

Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры /
В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 2002

Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, “то же исторический роман, только спрессованный до малого количества”. Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX веков.

© Пикуль В. С., 2002

© ВЕЧЕ, 2002

Содержание

ОТ АВТОРА	5
Слава нашему атаману!	7
Что держала в руке Венера	16
Одинокий в своем одиночестве	22
Сандуновские бани	30
День именин Петра и Павла	37
Герой своего времени	41
Автограф под облаками	47
Вологодский полтергейст	53
Через тернии – к звездам	63
Полет и капризы гения	71
Куда делась наша тарелка?	74
Сын “пиковой дамы”	81
Опасная дорога в Кабул	90
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Валентин Пикуль

Через тернии-к звездам

Исторические миниатюры

ОТ АВТОРА

Определение жанра – дело непростое. До сих пор не пойму, чем длинный рассказ отличается от короткой повести. Хотя разница между повестью и романом более ощутима, и роман, мне кажется, оставляет больше простора для читательских размышлений и домыслов, нежели повесть. Впрочем, еще никто не возражал Гоголю, который нарек свои “Мертвые души” поэмой...

Не берусь точно определить жанр предлагаемых мною исторических очерков, которые не рискну называть историческими рассказами. Я всегда называл их *миниатюрами*, и смею думать, что вряд ли ошибался. Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной.

Она – интимна, к ней надо приглядываться, как к книжному петиту. Были такие миниатюры на Руси, которые укладывали портрет в размер пуговицы или перстня, изображая человека разноцветными точками. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется. Но она сразу оживает, если взять ее в руки; наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека...

На этом, наверное, я мог бы и прервать свое авторское вступление. Но чувствую необходимость рассказать, как и когда я, писавший большие исторические романы, вдруг пришел к жанру исторической миниатюры.

Это случилось давно, еще в пору моей литературной молодости. Все мои попытки сочинять рассказы кончались неудачей, ибо рассказы получались очень плохими. И вот, неожиданно для себя, я написал первую из своих миниатюр по названию “Шарман, шарман, шарман!” – о странной и стремительной карьере офицера А. Н. Николаева. Читателям она понравилась, и я тогда же решил испытать свои силы в этом новом для меня жанре.

По сути дела, изучая материалы о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы “роман” сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все мало существенное, я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.

Для меня, автора, каждая миниатюра – это тот же исторический роман, только спрессованный до самого малого количества страниц. Писание миниатюр – процесс утомительный, берущий много времени и немало кропотливого труда. Так, например, миниатюру о художнике Иване Мясоедове в 15 машинописных страниц я писал 15 долгих лет, буквально по крупицам собирая материал об этом странном человеке, о котором в нашей печати упоминалось лишь изредка.

Позволю себе еще одно авторское примечание.

Собрав свои миниатюры под одной обложкой, я не желал бы представить перед читателем только героиню нашего прошлого, ибо в жизни не все люди герои; картина былой жизни была бы однобокой и неполной, если бы я не отразил и людей, живших не ради свершения подвигов, а... просто живших.

Хорошая жена и мать – разве она недостойна того, чтобы ее имя сохранилось в нашей памяти? Наконец, разве мало в нашей истории заведомых негодяев, мерзавцев или взяточни-

ков? Эти отрицательные персонажи тоже имеют право на то, чтобы их имена сохранились в грандиозном Пантеоне нашей истории...

Я человек счастливый, ибо прожил не только свою жизнь, настоящую, но и прожил судьбы многих героев прошлого.

О великом значении истории в духовной жизни народа издревле было сказано очень много, и здесь я напомним лишь слова знаменитого Цицерона:

НЕ ЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДО ТОГО, КАК ТЫ РОДИЛСЯ, ЗНАЧИТ НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ НЕРАЗВИТЫМ РЕБЕНКОМ.

Это веское мнение знаменитого оратора древности я мог бы подкрепить многочисленными афоризмами русских мыслителей, но из великого множества их высказываний напомним лишь слова нашего славного историка В. О. Ключевского: «История – это фонарь в *будущее*, который светит нам из *прошлого*...»

Итак, перед нами сборник исторических миниатюр.

Все они расположены в хронологическом порядке.

А этот порядок для читателя – самый удобный.

Слава нашему атаману!

Сейчас у нас – слава Богу! – стали писать о знаменитой “хомутовской” коллекции акварелей А. И. Клюндера. Мне, посвятившему около сорока лет своей жизни отечественной иконографии, особенно приятно это внимание к обширной серии портретов офицеров лейб-гвардии Гусарского полка, сослуживцев поэта Михаила Лермонтова. Собрание гусарских портретов кисти Клюндера было поднесено в дар генералу Михаилу Григорьевичу Хомутову, когда он покидал Царское Село, где квартировали его гусары, чтобы отбыть в Новочеркасск – ради новой службы.

Но имя этого Хомутова остается для многих как бы в густой тени, и только лермонтоведы иногда упоминают о нем. А я привык извлекать из потемок прошлого именно тех людей, что постыдно забыты нами, и потому хочу напомнить читателям о Михаиле Григорьевиче – кто он такой, кем был, о чем думал, чем занимался, кому служил, как относился к людям и как люди относились к нему...

Михаил Григорьевич Хомутов родился в 1795 году.

Русский выговор кого хочешь переиначит на свой лад: был шотландец Гамильтон, выехал он на Русь при царе Иване Грозном, а его дети и внуки постепенно превращались в Гамельтоновых, Гамотовых и, наконец, закрепились в русском дворянстве – как Хомутовы. Из числа многих Гамильтонов-Хомутовых мы лучше всего запомнили фрейлину Марию Гамильтон, которая была фавориткой Петра I, но изменила царю с его денщиком Орловым, за что царь-батюшка отрубил ей голову, а эта голова, тогда же погруженная в банку со спиртом, долго хранилась в Кунсткамере, где ее много лет спустя обнаружила княгиня Е. Р. Дашкова, а Екатерина II созвала гостей, чтобы полюбоваться красотой головы, после чего банку раскокали, а голову казненной красавицы, по высочайшему велению, предали земле...

Отцом нашего героя был сенатор Григорий Аполлонович, а мать – дворянка из рода Похвисневых. Дом родителей, вернее сказать – два дома (на Мясницкой и Басманной), был полная чаша. “На балы их и обеды съезжалась вся московская знать, литераторы, поэты, все известные гости столицы”. Михаил Хомутов учился в Пажеском корпусе, срочно выпущенный из пажей в корнеты – Наполеон уже вел к Москве гигантскую армию, и война сразу вскинула Хомутова в гусарское седло. В сражении под Красным юный корнет заслужил золотую саблю с надписью “За храбрость”, потом прошел через всю Европу до самого Парижа, а было ему всего девятнадцать лет...

Вернувшись на родину, повидался с родными, а затем служил, оставаясь лихим гусаром, в том полку, который квартировал в Царском Селе. Юный Пушкин по вечерам не раз убежал из Лицея, находя приют в гусарском обществе, где на скуку никто не жаловался. Позже, возвратясь из ссылки, поэт встретил Анну Хомутову, некрасивую, но умную девушку, и поспешил сказать ей: “Вы сестра Михаила Григорьевича, я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности”. Он стал говорить о лейб-гвардии Гусарском полке, который, по словам его, “был его колыбелью”. “А брат мой был для него нередко ментором...” – так записала эту беседу с поэтом сама Анна Григорьевна.

Михаил Григорьевич не баловал сестрицу вниманием, но, встретив ее на Невском, заманивал в кондитерскую Молинари, Аня рассказывала ему последние литературные новости – как рассмешил ее Жуковский, о чем пишет Нелединский-Мелецкий, каковы стихи князя Вяземского – и о том, что их кузен Иван Козлов, бедняга, совсем слепнет.

– Ты сама-то, Аннет, сознайся, не пишешь ли?

– Нет, я не пишу, а только записываю, что говорят люди пишущие. А как твоя служба, Мишель?..

Грех было жаловаться на службу, если уже вышел в полковники. Вскоре Михаил Григорьевич женился по страстной любви на Екатерине Михайловне Демидовой, мать которой – Анна Федоровна из рода Бестужевых-Рюминых I – была кузиной декабриста М. П. Бестужева-Рюмина, повешенного на кронверке столичной крепости. Но сам Хомутов был далек от декабристов, и потому в новом царствовании Николая I его карьера не ведала задержек на рискованных поворотах истории. В забытой нами войне 1828 года Хомутов отличился не только храбростью, но и небывалой щедростью, показав всем, что сердце у него доброе, сострадательное. Увидев как-то нищих беженцев из Румелии, гусар не стал ждать, пока в Петербурге казна раскошелится, а выложил деньги из своего кармана:

– Обуть, одеть, накормить. Не могу видеть несчастных. Что мне деньги? Меньше выпью, меньше пожирю в Бухаресте... Велика ль беда? Зато вытрем слезы вдовьи и детские.

Из этой войны на Дунае он вышел генерал-майором.

Катюша, сияющая красотой и счастьем, рожала исправно, одарив преуспевающего мужа целым выводком ребятишек, которых он выстраивал по ранжиру, пересчитывая по головам (все сынишки и только одна девица – Санька). Жене говорил:

– Хватит плодиться! Этак-то, гляди, ребят у тебя станет намного более, нежели у меня орденов на мундире...

В 1833 году Хомутов стал командовать лейб-гвардии гусарами, и в полку не могли нахвалиться добрым начальником. Служилось при нем легко и весело. Под началом Хомутова состоял не только поэт Лермонтов, но и сородичи его – Столыпины, в том числе и знаменитый “Монго”, который выдрессировал свою собаку, чтобы во время кавалерийских учений выбежала на плац, хватая лошадь Хомутова за хвост, отчего бедный командир полка и прекращал муштровку.

– Монго! – кричал Хомутов со вздыбленной лошади. – Я ведь догадываюсь, что вы затем и завели себе эту псину, чтобы я не утомлял вас учением...

Конечно, каждый гусар оставался гусаром, и в полку Хомутова, как писал современник, “было много любителей большой карточной игры и гомерических попок с огнями, музыкой, женщинами и пляской”.

Не хочешь, да вспомнишь Дениса Давыдова – певца крылатой гусарской лихости:

На затылке кивера,
доломаны до колена,
сабли, шашки у бедра,
а диваном – кипа сена...
Но едва проглянет день,
каждый по полю порхает.
Кивер зверски набекрень,
ментик с вихрями играет...

Нотаций свыше Хомутов не принимал:

– А что вы хотели? Гусар всегда остается гусаром... Такая покладистость командира службе не мешала, а, кажется, даже делала ее привлекательной. Михаил Григорьевич, бывало, назначал выездку лошадей, но офицеры говорили, что завтра им надобно сидеть не в седлах, а в партере театра, ибо в Санкт-Петербурге ставится опера “Фенелла”.

– Бог с ней, с выездкой, – соглашался Хомутов, – я бы вас первый перестал уважать, ежели б вы не прослушали “Фенеллу”.

Так служили гусары, и никто в России не сомневался в лихой боеспособности гвардейских гусар. Именно из рядов Гусарского полка Лермонтов бросил в лицо Дантесу и обществу свои знаменитые стихи, а Хомутов, прослушав их, сказал:

– Не сиди сейчас Дантес под арестом, он по всем правилам благородства должен бы вызвать Лермонтова на дуэль, как вызвал его наш Пушкин, но... где уж ему!

“Где уж...”. Офицеры Хомутова, побывав на военном суде, который разбирал дело Дантеса, так обрисовали его поведение:

– Бульварная сволочь со смазливой мордочкой и бойким говором бабника. Сначала-то он, решив, что его засекут где-либо впотьмах нагайками, так растерялся, что бледнел и дрожал как осиновый листочек. А когда понял, что Россия его в живых оставит, так захорохорился и даже имел наглость заявить, что таких поэтов, как Пушкин, в Париже у них с дюжину сыщется... Дать бы ему хорошую плюху за нахальство, с каким он оплевал хлеб да соль русские!

Однажды Николай I пожелал говорить с Хомутовым:

– Слышал ли, что донской атаман Власов хворать стал, да и как не болеть старику, ежели в одной только атаке под Гроховом он сразу семь ран получил! Думаю, чтобы помочь атаману, надобно ехать тебе на Дон... начальником штаба Войска Донского.

Наверное, именно тогда, ощутив близость разлуки с любимым командиром, офицеры и заказали Клюндеру галерею своих акварельных портретов, чтобы поднести их на память Михаилу Григорьевичу. Странная судьба у этой “хомутовской” коллекции, из которой наши историки привыкли репродуцировать один только портрет М. Ю. Лермонтова, а его приятелей забыли. Теперь хватились собирать всю галерею сослуживцев поэта, но она оказалась уже разрозненной, рассыпанной по разным хранилищам, словно колода карт, сгоряча брошенная под стол неудачливым игроком... Теперь собирать надобно!

Летом 1839 года Хомутов уже был в Новочеркасске, этой давней столице Войска Донского, произведенный в чин генерал-лейтенанта. Стареющий атаман Максим Власов, рубака славный, встретил царскосельского гусара настороженно:

– Ты чо прикатил сюды-тко? – спросил мужик.

– Руководить штабом твоим, Максим Григорьевич.

– Иль я доверие потерял? А и-де жинка твоя?

– За мной едет. С детьми. Вскоре явится.

– Та-а-ак. Значит, не на день тихий Дон навестил, решил тута обосноваться. Ну-к, ладно. А что говорил тебе царь, напутствуя в края наши забвенные?

– Соизволил вспомнить свое пребывание у вас в тридцать седьмом году, когда он желал видеть казака на лошади – как центавра древности, но казаки, сказал он мне, на мужиков более похожи, и лошади-то у вас мужичьи, годные лишь для пахоты.

– Эх, милый мой! – вздохнул атаман Власов. – Царю центавры на Дону снятся, а вить нам, казачью, и пахать надобно... не баб же своих нам в плуги впрягать!

Здесь был совсем иной мир, совсем другая кавалерия, чисто народная, и сановный Санкт-Петербург видел этот мир иначе, совсем не таким, каким он предстал перед взором гусара. Тут я скажу читателю сразу, чтобы не отягощать финал своего рассказа утомительным послесловием. Михаил Григорьевич был человеком образованным, житейски опытным (недаром же Пушкин называл его своим “ментором”), но Хомутов сочинил массу казенных бумаг, погребенных ныне в архивах, сам же он в литературу, кажется, не стремился. Зато окружение его было литературным. Его двоюродный брат-слепец Иван Козлов был поэтом, из-за любви к нему так и засохла в девичестве сестрица Аня, оставившая нам, читатель, страницы чудесных воспоминаний, а брат Сергей Хомутов, тоже из пажей и тоже участник войны 1812 года, рано вышел в отставку по болезни и с 1827 года вроде бы прозябал в ярославской деревушке Лытарево, прикованный к креслу, занимаясь воспитанием детей и бездомных сирот. Но в 1869 году русская публика прочла его “Дневник свитского офицера”, в котором Сергей Хомутов описал поход русской армии в 1813 году, избавивший Россию от диктатуры Наполеона, но Европа так и не сказала “спасибо” русскому солдату за свое освобождение...

Ладно, читатель. Вот мы и в Новочеркасске...

В сложной русской истории вопрос о донском казачестве выглядел архисложным. Тихий Дон столетиями славился разбойниками и смутами, но, оставив эти “шалости” (как писалось в старину), донцы были и ретивыми защитниками Русского государства. Столицей мятежного Дона издревле был не город, а лишь станица Черкасская, отчего и казаков прозвали “черкасами” (отсюда и сорт мяса от скота, гонимого на Русь с юга, именовался “черкасским”). Черкасск, каждую весну затопляемый половодьем, очень долго оставался столицей, пока атаман Платов не сыскал место для новой, и старая осталась догнивать под названием Старочеркасск, а новый город стал именоваться Новочеркасском.

Новочеркасск выглядел большою несурзкой деревней, строенной на возвышенном солнцепеке, сжатой мелководными речками – Аксаем и Тузловой, которые поили жителей скверной водою. От воды или от чего-либо другого город навещали всякие хвори, детская же смертность была очень высокой, а больниц и аптек казаки не имели. Зато вот рыбы тут было – хоть завались, а в шипучем цимлянском вине донцы-молодцы трезво усматривали хорошую замену французскому шампанскому. Убогость жизни бросалась в глаза: ни тебе гимназий, ни тебе училищ, тихий Дон не ведал газет, редко можно было усмотреть книгу в руках казака, а молодежь, ищущая образования, покидала родину, уезжая в Казань или Саратов, где можно было учиться...

Когда Хомутов покидал Петербург, в столице говорили, что он бежит от долгов, и это отчасти было справедливо, ибо на его рязанском имении Белоомут лежал почти миллионный начет, о чем на Дону вскоре узнали, рассуждая: “Гляди, и года не минует, как энтот генералище от долгов избавится...”.

– Долгов накошелял я немало, сие верно, – не возражал Хомутов. – Но не за тем же Петербург променял я на казачью столицу, чтобы казаков на Дону грабить.

Екатерина Михайловна, наряженная по столичной моде, приехала в Новочеркасск, дабы “царствовать”, но муж разместил семью в одноэтажном домишке, входные пороги которого были вровень с землей, что было непривычно балованной женщине.

– Мишель, обо мне и детях подумал ли? – с обидой говорила жена. – Нельзя ли пристойнее снять квартиру?

– Нельзя, – отвечал муж. – Пусть все видят, что живем скромно, и пока не отстрою для других нужное, о себе думать я никогда не стану... Терпи, атаманшей станешь!

Атаман Власов, коренной “черкас”, на всех приезжих посматривал косо, а уж Хомутова и подавно не жаловал.

– Надо бы улицы замостить, – не раз говорил ему Хомутов, отряхивая мундир от немислимой пылищи.

– А здесь тебе не Париж, – мудрейше отвечивал атаман. – На жидкий понос казаки наши, да, жалятся, а на пыль родную жалоб шло не поступало...

Посреди нелепого города, среди казачьих хибар и потоков грязи, стекавших с горы, нелепо возвышалась громадина строящегося собора, который, по планам, должен был занимать третье или четвертое место в Европе по высоте; заложенный еще до нашествия Наполеона, собор делался и уже не раз переделывался. Никто не верил, что его подведут под купол.

– Если здесь не Париж, – говорил Хомутов атаману, – то к чему Нотр-Дам городить на посмешище всей Европе?

– Пушай хохочут, – отвечал Власов, – мы как были, так и останемся не посмешищем, а грозой для Европы, хотя ты, генерал, и прав... где бы денег взять?

Хомутов внушал атаману, что на метрополию надежды слабые, казакам надобно скопить “войсковой” капитал, дабы не зависеть от казны государства.

– Это, со стороны глядя, вы тут с жиру беситесь да цимлянским надуваетесь, а по станциям проедешь – сколь много куреней бедных, сколько вдов нищих и сирот немых. Опять же – инвалиды... немало их по улицам ползают,

– Всегда таково было, – хмуро отвечал Власов.

Однажды ночью супруги Хомутовы проснулись от страшного грохота, и казалось, что рассыпется их жилище. Это обрушился собор, стремившийся повершить высоту европейских храмов.

– Избавились от этого монстра, – сказал Хомутов жене. – Пришло время кирпичи собирать, чтобы новый строить.

Екатерине Михайловне было тут скучно, а местное дворянство перед людьми пришлыми объятий не распахивало, новочеркасский же князь Д. Г. Голицын, осевший в этих краях ради женитьбы на графине Платовой, потешал местное общество злыми, но талантливыми карикатурами на чету Хомутовых.

– Князь, – сказал ему как-то Хомутов, – всегда памятуя о своей знатности, не попирайте чужих достоинств. Впрочем, я далек от мстительности, и можете обрадовать свою жену, что я мечтаю о сооружении памятника ее славному деду...

Но прежде он соорудил величественный памятник своим благодеяниям – устроил Аксайскую дамбу с разводным мостом, что стало подлинным благом для всех жителей Дона, для всех путников, едущих на Кавказ или выезжавших с Кавказа, а Ростов стал неслыханно процветать от оживленной торговли с русской провинцией. Хомутов наладил работу почты, а в донских степях выстроил уютные станции для обогрева и ночлега проезжих. При этом начальник штаба умел экономить, и атаман Власов с удивлением обнаружил, что в его казне завелась лишняя копейка.

– Надобно собор достраивать, – сказал он.

– Надо, – соглашался Хомутов, – но также следует заводить гимназии и типографию, да приюты детские, чтобы казачьи сироты с протянутой рукою не шлялись по улицам.

Власов милостыню сиротам подавал, но говорил иное:

– Экий ты, генерал, скорый! А о лошадях ты подумал ли? Казак без коня – что поп без креста.

– Разве я спорю? – отвечал Хомутов. – Его величество недаром же говорил, что центавров на Дону не заметил...

Не заметил их и сам Михаил Григорьевич, пораженный прямым подсчетом: на каждого жителя в Области Войска Донского приходилась одна треть лошади (иначе говоря, любой крестьянин в России имел лошадей гораздо больше, нежели их имели донские казаки, – невероятная истина!). В заботах об увеличении донских табунов Хомутов сблизился с атаманом, постепенно обрел уважение и в казачестве, которое разглядело в нем рачительного хозяина. Озабоченный нуждами людей, о себе Хомутов не думал, и как вселился в свою халупу по приезде в Новочеркасск, так и терпел неудобства, так и ходил по комнатам, полусогнутый, чтобы не стукаться головой о дверные притолоки, а жене не позволял говорить о заведении нового жилища, более пристойного для его генеральского положения.

– Когда оставишь свои гусарские повадки? – не раз выговаривала мужу Екатерина Михайловна. – Если ты смолоду ночевал у костров на бивуаках, так не продлевай бездомные привычки молодости. Дети выросли, а мы стареем.

– Оставь, Като! – отмахивался Хомутов. – Ты имеешь предком своим тульского кузнеца Демидова, а я все-таки воспитан в правилах порядочности российского аристократа. Я оставил свои хоромы в Москве и Белоомуте, но здесь, в казачьей юдоли, дворцов заводить не стану... Это было бы неприлично!

Между супругами не раз намечался разлад и обоюдное охлаждение, ибо Михаил Григорьевич (при всех его достоинствах) обладал еще одним заурядным качеством гусара – он был

неисправимым женолюбцем, и счет его сердечных побед катастрофически увеличивался, что никак не могло радовать супругу. Бог ему судья, оставим это... Тут вскоре случилась беда: летом 1848 года атаман Максим Власов, совершая объезд Области Войска Донского, завернул в станицу Медведицкую, там его скрутила холера, и в одночасье старик умер. Власов был *последним* на Дону выборным атаманом, а Хомутов стал *первым* на Дону атаманом, которого Петербург назначил указом свыше, – событие примечательное, тем более что казаки не стали шуметь, ибо Михаил Григорьевич сумел завоевать их сердца своей добротой и отзывчивостью к их нуждам, люди в Новочеркасске видели, что себя он не щадил, а других людей жалел всегда...

– Ну вот, моя прелесть, – сказал Хомутов супруге, – видишь, как все получилось, и ты стала у меня атаманшей!

А рядом-то – Донбасс, не забывайте об этом, и на землях казачьих – славные Грушевские копи, дающие лучший антрацит в мире. Дрова были дороги, а потому казаки в станицах отапливали свои курени антрацитом, на нем работали сельские кузницы, его продавали в другие города, на нем работал сталелитейный завод в Луганске. А шахтеры, недовольные жизнью, толпами шли в Новочеркасск – жаловаться Хомутову; известно, что однажды работяги даже из Царицына (!) протопали 450 верст по степи, в зной и безводье, чтобы Хомутов защитил их от грабежа подрядчиков, и Михаил Григорьевич никого не отвергал, всех выслушивал, никто не ушел от него, не получив помощи...

– Наш атаман никого не боится, – говорили на Дону. – У него и сам царь в приятелях, а с нами прост, приходи любой, двери у него настежь. Не спит – нас поджидает...

Отчасти это верно. После служебного дня, наругавшись, Хомутов отворял двери на улицу (порога-то не было!) и, сидя в кабинете, если слышал чьи-либо шаги в сенях, то зычно выкрикивал: “Эй, кто там? Иди сюда...” Всемогущий атаман, простой и домашний, был в вечерние часы доступен и старому казаку с шевронами, и базарной торговке, и любому мальчонке. Энергии атамана можно было позавидовать, и недаром же В. А. Параев, общавшийся тогда с Хомутовым, писал, что после кончины Власова энергии еще прибавилось, вместо одного атамана, казалось, стало два-три – так много успевал он исполнить. Хомутов пробуждался с первыми петухами и крутился до ночи, начиная свои дни с посещения базара, где ругался с купцами, чтобы разгребли нечистоты и разогнали бездомных собак, а все дни трудился в поте лица, и штаб Войска Донского напоминал министерство с разными департаментами, у Хомутова был даже чиновник, который докладывал ему о развитии русской литературы...

Чтобы не быть голословным, приведу один из обычных диалогов, какие возникали каждый раз, когда Хомутов устраивал прием служащих в Атаманском дворце. Он выходил из кабинета, оглядывая сонмище чиновников, военных и местных помещиков.

– Опять, черт побери, на Аксайском мосту плашкоут разбило. Где инженер? Пора придумать защиту ото льдин.

Среди людей он замечал архитектора Вальпреда:

– Иван Осипыч, ты тоже думай... Я сегодня твоего подрядчика поколотил. У него рабочие сухой кирпич на известь клали. Лень водой сбрызнуть! Да скажи мясникам, что если мусор у лавок не уберут, так плакать им кровавыми слезами. Полицмейстер, где ты, солнышко? Посади-ка своего пристава на гауптвахту, и пусть посидит на хлебе, чтобы дела не забывал...

Шествие вдоль ряда людей продолжается. Сам большой ловелас, Хомутов надзирал за нравственностью и, отстранив от себя бабника Лукоедова, желавшего приложиться к плечу атамана, сказал ему:

– Я ж тебе не гувернантка, чтобы меня целовать. Господа, гляньте на этого донжуана. Зазвал к себе монашенку, а сам под рясу полез... А ну – пошел вон! Бабуин несчастный...

На глаза Хомутову попался дирижер Шейер.

– У тебя там первая скрипка – казак Серомахин, талантлив, дьявол, будущий Паганини. Надо бы его от Войска Донского укрепить, да чтобы в консерваторию ехал – учиться.

Следующий номер с Черевоквым (по крестьянским делам):

– А, Петр Федорыч, с праздником тебя.

– Какой праздник нонеча, атаман?

– Ну, как же! Вот пишут о свободе, а ты, сознавайся, мужичков-то в Большую высек...

Это всегда так: кто не умеет с народом разговаривать, тот за розги хватается.

Чиновнику гражданского суда Попову:

– Давно не виделась, Николай Иваныч, ну, сознавайся, сколь народу засудил. Жалуются люди, что дела волокитничаешь.

– Точно так-с. Бумаг много. Не справиться.

– А ты бумаги-то разгребь, чтобы людей видеть за ними.

Навытяжку стоял перед атаманом горный инженер Врангель:

– Вот и вы, барон! Что у тебя там, на шахтах, творится? Человек упал в неогражденную шахту, вчера бадья с шахтерами оборвалась. Ты меня в преферанс обыграл, остался я при шести на черной курице. Так это не дает тебе право бездельничать. Где Пунчевский? Кто его видел?

Из рядов чиновников выходит член врачебной управы:

– Здесь я, честь имею.

– Что мне с твоей чести, если в твоей больнице на больных халаты не стирают, а тарелки собаки облизывают.

– Знать того не знаю, а халатам срок еще не вышел.

– Брось о сроках! Не с арестантами дело имеешь...

Хомутову попался на глаза Карташев, надоевший доносами, которые он вежливо именовал “проектами”. Недолго думая, Михаил Григорьевич хватал его за глотку и, развернув, выставлял из приемной ударом колена под зад:

– Что ты шляешься? Что ты здесь торчишь? Видеть тебя не хочу! И впредь на глаза не попадайся – расшибу...

Потом – генералу Машлыкину, предводителю дворянства:

– А-а, Иван Алексеевич, друг ситный! Хочешь, обрадую?

– Рад слушать, – отвечал тот.

– Военное министерство вняло моим доводам, что Дону без театра не жить. Кривились там, и без того косоротые, будто атаман Хомутов деньги мотает, а все же строительство театра одобрили... Так что наше дело выиграно. Кстати, – продолжал Хомутов, – моя жена в Петербург ездила, целый воз игрушек привезла, вы навестите ее, эти игрушки надо раздать детишкам в приюте для осиротелых.

Закончив прием, атаман вернулся к полицмейстеру:

– У меня для тебя тоже подарок приготовлен.

– Буду счастлив принять, ваше превосходительство.

– Эй, адъютант, тащи сюда... не стыдись!

Из элегантного свертка Хомутов извлек дохлую кошку и набросил ее на шею полицмейстера, словно горжетку:

– А тебе к лицу, – сказал он. – Эта киска дохлая валялась на Ратной улице, тебя поджидая... В другой раз увижу падаль на улицах, я на твое благородие еще не то навешу.

Архитектора Вальпрейда атаман просил задержаться:

– Ох, не нравятся мне пилоны в новом соборе.

– По науке все, по науке. Если не стану учитывать законы математики, так я же первый в Сибирь пойду по этапу.

Чиновники и офицеры управления расходились, и Хомутов крикнул вдогонку генералу Машлыкину:

– Да! Когда игрушки в приют потащишь, всей мелюзге приюта от меня один поцелуй передай, и пусть разделят его между собой на равные части... Все по науке у вас, по науке, – ворчал Хомутов, продолжая разговор с Вальпрейдом. – Сибири-то вы боитесь, а вот счета фальшивые на подряды подписывать вам не страшно. Думаешь, я не вижу, что у тебя любовница молодая? Сознаться, сколько ей платишь?..

Мне, читатель, описывая эти речи, почти не пришлось фантазировать, ибо один из таких разговоров стенографически зафиксировал с натуры некто А. А. Киселев, очевидец таких приемов.

Между тем донские казаки не только выводили лошадей и не только давили виноград для цимлянского – они еще и служили, каждый год провожая молодняк на Кавказ или в Варшаву, несли тревожную службу по охране Черноморского побережья, пресекая турецкую или греческую контрабанду. А стольный град Новочеркасск хорошел, и об этом я хочу рассказать особо. Да, читатель, Михаил Григорьевич 24 года прожил в своей хибаре, с порогом на уровне земли, зато отстраивал жилища для других и не видел в этом ничего зазорного или унижительного для себя, для атамана:

– По мне так пусть люди будут довольны и счастливы, а мы не бедные – и так проживем...
Осталось сказать, что сделал Хомутов для Донского края.

При нем возник в Новочеркасске Мариинский женский институт и гимназии, а в станицах – училища и школы; появилось даже отделение восточных языков. При нем жители Дона обрели свой театр, открылись библиотеки, где за чтение книг и газет денег не брали. Бесплатным стало лечение в больницах, а больным в аптеках бесплатно отпускали лекарства. Мало того! Хомутов собрал в Атаманском дворце ценнейшую галерею портретов героев казачества, имена которых стали гордостью России (во времена же диктатуры Троцкого, ненавидевшего казачество, эту галерею разорили, а теперь ее заново собирают).

Новочеркасск при Хомутове приобрел городской вид. Малоимущим атаман выделял пособия, чтобы возводили дома, улицы мостились камнем, освещались фонарями. Приезжие из Петербурга говорили, что Гостиный двор у казаков намного краше столичного. Хомутов разрушил лавки Базарной площади, вечно грязной и пакостной, а на ее месте возник громадный цветущий парк – с фонтанами, аллеями и павильонами для отдыха, там вечером играли оркестры, люди танцевали, и не пускали в сад только пьяных. Наконец, Михаил Григорьевич свершил великое дело – за 20 верст от степных родников протянул в город трубы водопровода, и... не стало прежних болезней. Наконец, от Грушевских угольных копей к Дону побежал паровоз с вагонами, и эта магистраль вошла в общую железнодорожную сеть России...

Всегда помня о людях, Хомутов добился у царя сокращения сроков службы рядовым казакам, чтобы не отрывались они от семей надолго, а из капитала Войска Донского, собранного им, он раздавал пенсии убогим и пособия бедным.

– Слава нашему атаману! – кричали в дни праздников казаки, и, надо полагать, кричали они не ради уставного порядка, а от чистого сердца, ибо житье на Дону стало веселее...

Приезжие в Новочеркасск заметили, что свита Хомутова заметно “помолодела”, чиновники щеголяли значками об окончании университетов, среди офицеров немало грамотеев-генштабистов. Частенько наведываясь в Петербург по делам службы, Михаил Григорьевич свел знакомство со знаменитым скульптором Клодтом, и в 1853 году Новочеркасск праздновал открытие памятника атаману Матвею Платову, который занял пьедестал, окруженный трофейными пушками, отбитыми казаками у Наполеона. Легендарный атаман с саблей в руке стоял перед Атаманским дворцом, а перед ним расprostерлись кущи новочеркасского парка, и там струились прохладные фонтаны, звучала воинственная музыка...

Не повезло нам с памятниками, а точнее, с их “ценителями”! В 1923 году “борцы с буржуазным наследием проклятого прошлого”, чересчур рьяно борющиеся с традициями тихого Дона, свергли Платова с пьедестала. Теперь жители города хлопочут о его возрождении. Но... как? Как выгнать из Атаманского дворца горком партии, перед фасадом которого платовский пьедестал занят фигурой Ленина, вытянутой рукой зовущего в светлое будущее... Как?

Все эти годы Екатерина Михайловна процветала, сделавшись вроде “донской царицы”, и постепенно из деликатной, вежливой и неглупой особы она превратилась в надменную самодурку, вконец испорченную низкопоклонством своих “придворных” холуев и прихлебательниц. В сладком чаду всеобщего поклонения она, кажется, считала уже вполне естественным, если кавалеры целовали не только ее руку, но и подлокотники кресла, которых руки ее касались. Атаманше представлялись городские новобранцы, в ее приемной толпились всякие “именинники”, и, дай Хомутов волю жене, она бы, наверное, крестила всех младенцев города.

Вряд ли семья была счастлива. Сыновья росли беспутными шалопаями, служить не хотели, зато славились кутежами. Один из них, самый порядочный, был убит в перестрелке с чеченцами, а любимая дочь Хомутовых упала с качелей, разбилась и умерла. 1861 год и реформы нового царствования, многое изменившие в русской жизни, явно перепугали атамана. Хомутов все чаще стал поговаривать о том, что устал, нуждается в покое; в чине генерала от кавалерии Михаил Григорьевич был награжден орденом Андрея Первозванного, высшей наградой Российской империи, и отставлен от атаманской должности с назначением в члены Государственного Совета, более похожего на приют стариков.

Хомутов выехал в Петербург и вскоре умер.

Мужа и всех своих детей надолго пережила атаманша Хомутова, которая в полнейшем одиночестве продлевала свой жалкий век – в сварливом и даже озлобленном убожестве, ненужная даже родственникам, надоевшая всем своими претензиями.

Я рассказал, что знал. “Дело будущего историка нашей страны отделить в их деятельности хоршее от дурного...”

Иногда же я думаю: не будь у нас пушкинистов и лермонтоведов, мы бы, наверное, так и жили, ничего не зная о Хомутовых, как не знаем многих-многих, достойных того, чтобы их не забывать.

Что держала в руке Венера

В апреле 1820 года древний ветер с Эгейского моря принес к скалам Милоса французскую бригадину “Лашеврет”. Сонные греки смотрели с лодок, как, убрав паруса, матросы травят на глубину якорные канаты. С берега тянуло запахом роз и корицы да кричал петух за горою – в соседней деревне.

Два молодых офицера, лейтенант Матерер и поручик Дюмон-Дарвиль, сошли на нищую античную землю. Для начала они завернули в гаванскую таверну; трактирщик плеснул морякам в бокалы черного, как деготь, местного вина.

– Французы, – спросил, – плывут, наверное, далеко?

– Груз для посольства, – отвечал Матерер, швыряя под стол кожуру апельсина. – Еще три ночи, и будем в Константинополе...

Надсадно гудел церковный колокол. Неуютная земля покрывала горные склоны. Да зеленели вдали оливковые рощицы.

Нищета... тишь... убогость... кричал петух.

– А что новенького? – спросил Дюмон-Дарвиль у хозяина и облизнул губы, ставшие клейкими от вина.

– Год выпал спокойный, сударь. Только вот зимой треснула земля за горою. Как раз на пашне старого Кастро Буттониса, который чуть не упал с плугом в трещину. И что бы вы думали? Наш Буттонис упал прямо в объятия прекрасной Венеры...

Моряки заказали еще вина, попросили поджарить рыбы.

– Ну-ка, хозяин, расскажите об этом подробнее...

Кастро Буттонис глядел из-под руки, как к его пашне издалека шагают два офицера, ветер с моря треплет и комкает их нежные шарфы. Но это были не турки, которых так боялся греческий крестьянин, и он – успокоился.

– Мы пришли посмотреть, – сказал лейтенант Матерер, – где тут треснула у тебя земля зимою?

– О, господа французы, – разволновался крестьянин, – это такое несчастье для моей скромной пашни, эта трещина на ней. И все виноват мой племянник. Он еще молод, силы в нем много, и так сдуру налег на соху...

– Нам некогда, старик, – пресек его Дюмон-Дарвиль.

Буттонис подвел их к впадине, открывающей доступ в подземный склеп, и офицеры ловко спрыгнули вниз, как в трюм корабля. А там, под землей, стоял беломраморный цоколь, на котором возвышались вдоль бедер трепетные складки одежд.

Но только до пояса – бюста не было.

– А где же главное? – крикнул из-под земли Матерер.

– Пойдемте со мной, добрые французы, – предложил старик.

Буттонис провел их в свою хижину. Нет, он никого не хочет обманывать. Ему с сыном и племянником удалось перетащить к себе только верхнюю часть статуи. Знали бы господа-офицеры, как это было тяжело.

– Мы несли ее через пашню бережно. И часто отдыхали...

Средь нищенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чудная женщина с лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись – взглядами, в которых читались миллионы франков. Но крестьянин умел читать только свою пашню, а в людские глаза смотрел открыто и чисто.

– Продам... купите, – предложил он наивно.

Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в сморщенную ладонь землешка:

– На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя.

Буттонис перебрал на своей ладони монеты:

– Но священник говорит, что Венера за морями стоит дороже всего нашего Милоса с его виноградниками.

– Это лишь задаток! – не вытерпел Дюмон-Дарвиль. – Мы обещаем вернуться и привезем денег сколько ни спросишь...

С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в спасительные рифы. Срезая фальшбортом ключья пены, “Лашеврет” влетел в гавань Константинополя, и два офицера появились на пороге посольства. Маркиз де Ривьер, страстный поклонник всего античного, едва успел дослушать их о небывалой находке – сразу дернул сонетку звонка, вызывая секретаря.

– Марсюллес, – возвестил он ему торжественно, – через полчаса вы будете уже в море. Вот письмо к капитану посольской “Эстафеты”, который да будет повиноваться вам до тех пор, пока Венера с острова Милосе не явится пред нами. В деньгах и пулях советую не скупиться... Ветра вам и удачи!

“Лашеврет” под командой Матерера больше никогда не вернулся в родной Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского посольства “Эстафета” на всех парусах рванулась в сторону Милоса. Среди ночи остров замерцал точкой далекого огня. Никто из команды не спал. Марсюллес уже зарядил пистолет пулей, а кошелек хорошей дозой чистого золота.

Античный мир, прекрасно-строгий, вызывая восторги людей, понемногу открывал свои тайны, и на шхуне все – от юнги до дипломата – понимали, что эта ночь окупится потом благодарностью потомства.

Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капитана.

– Пойдем напрямик, – сказал он, – чтобы не тащиться пешком от деревни до гавани... Видите, светит в хижине огонь?

– Ясно вижу! – ответил капитан, уже не глядя на картушку компаса; берег, блестя под лунной острыми камнями, резко выступал в белой окантовке прибоя...

– Я вижу людей! – заголосил вдруг вахтенный с бака. – Они что-то тащат... белое-белое. И – корабль! Как Божий день, я вижу прямо по носу турецкий корабль... с пушками!

Французы опоздали. В бухте уже стояла громадная военная фелюга. А по берегу, осиянные лунным светом, под тяжестью мрамора брели турецкие солдаты. И между ними, повисшая на веревках, качалась Венера Милосская.

– Франция не простит нам, – задохнулся в гневе Марсюллес.

– Но что же делать? – обомлел капитан.

– Десанту по вельботам! – велел секретарь посольства. – Боевые патроны – в ружья, на весла – по два человека... Дорогой капитан, на всякий случай – прощайте!

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые весла. Турки подняли гвалт. Венеру сбросили с веревок. И, чтобы опередить французов, покатили ее вниз по откосу, безжалостно уродуя тело богини.

– Бочка вина! – крикнул матросам Марсюллес. – Только гребите, гребите, гребите... именем Франции!

Он выстрелил в темноту. Затрещали в ответ пистолы.

Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил перед свирепым блеском обнаженных ятаганов.

Венера прыгала по рытвинам – прямо в низину гавани.

– Что вы стоите? – закричал Марсюллес. – Две бочки вина. Честь и слава Франции – вперед!

Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю часть Венеры – самую вожделенную для глаз. Богиня лежала на спине, и белые холмы ее груди безмятежно отражали сияние недоступных звезд. А вокруг нее гремели выстрелы...

– Три бочки вина! – призывал Марсюллес на подвиг.

Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и, открыв прицельный огонь, быстро отгребли в сторону фелюги. А французы остались стоять на черных прибрежных камнях, среди которых блестели осколки паросского мрамора.

– Собрать все осколки, – распорядился Марсюллес. – Каждую пылинку благородства... Вечность мира – в этих обломках!

Бюст богини погрузили на корабль, и “Эстафета” стала нагонять турецкий парусник. Из-за борта высунулась пушка.

– Верните нам ее голову, – озлобленно кричали турки.

– Лучше отдайте нам ее зад, – отвечали французы.

Канонир прижал фитиль к запалу, и первое ядро с тихим шелестом нагнало турецкую фелюгу. Марсюллес схватился за виски:

– Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже никогда не увидит красоты в целости... О Боже, нас проклянут в веках, и будут правы...

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса. Марсюллес сбежал по трапу в кают-компанию, где на диване покоилась богиня.

– Р у к и? – закричал в отчаянии. – Кто видел ее руки?

Нет, никто из десанта не заметил на берегу рук Венеры...

Начались дипломатические осложнения (из-за рук).

– Но турки, – сказал маркиз де Ривьер, раздосадованный, – также отрицают наличие рук... Куда же делись руки?

Султан турецкий никогда не противился влиянию французского золота, а потому нижняя часть богини была им предоставлена в распоряжение Франции; из двух половин, разрозненных враждой и завистью, Милосская Венера предстала в целости (но без рук). Мраморная красавица вскоре отплыла в Париж – маркиз де Ривьер приносил ее в дар королю Людовику XVIII, который был напуган и растерялся от такого подарка.

– Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее! – сказал король. – Ах, этот негодный маркиз... Пора бы уж ему знать, что королям не дарят ворованные вещи!

Людовик тщательно скрывал от мира похищение статуи с Милоса, но тайна проникла в печать, и королю ничего не оставалось делать, как выставить Венеру в Лувре – для всеобщего обозрения.

Так-то вот, в 1821 году Венера Милосская явилась перед взорами людей – во всей своей красоте.

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать головы в мучительных загадках. Кто автор? Какая же эпоха? Вы только посмотрите на этот сильный нос, на трактовку уголка губ; какой крохотный и милый подбородок. А – шея, шея, шея...

Пракситель? Фидий? Скопас?

Ведь это же – доподлинно образец эллинистической красоты!

Но сразу же встал неразрешимый вопрос:

– Что держала в руке Венера?

И этот спор затянулся на половину столетия:

– Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед собой, – говорили одни историки.

– Глупости! – возражали им. – Одной рукой она стыдливо прикрывала свое лоно, а вторая рука несла воинственное копье.

– Вы ничего не поняли, профан, – раздался третий голос, не менее авторитетный. – Венера держала перед собой большое зеркало, в которое и разглядывала свою красоту.

– Ах, как вы не правы, дорогой маэстро! Венера с Милоса уже вышла из той эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый предмет. Нет, она делает отталкивающий жест стыдливости!

– Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, что сам создатель, в порыве недовольства, пожелал уничтожить свое создание. Он отбил ей руки, а потом – пожалел.

“Да, в самом деле, что же, наконец, держала в руках Венера, найденная на острове Милос греческим крестьянином по имени Кастро Буттонис?..”

Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню реставрации нечего было и думать, ибо не выяснен главный вопрос: р у к и! А безрукая Венера стояла под взглядами тысяч людей, вся в обворожительной красоте, и никто не мог разгадать ее тайны...

Миновало полвека. Жюль Ферри, французский консул в Греции, приплыл в 1872 году на остров Милос. Так же тянуло с берега ароматом роз и корицы, так же плеснул ему трактирщик густого и черного вина.

– До деревни здесь далеко ли? – спросил Ферри, вращая стакан в липких пальцах.

– Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите...

Ферри постучался в ветхую лачугу, которая совсем развалилась за эти прошедшие 52 года. Дверь тихо скрипнула.

Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал племянник – дряхлый, как и его брат.

Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых в золе лепешек. Нет, здесь ничто не изменилось...

– А вы хорошо помните Венеру? – спросил Ферри у крестьян.

Четыре землянистые руки протянулись к нему:

– Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно несли ее от самой пашни...

О, сейчас нам и себя не пронести так осторожно!

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков.

– Ну, ладно. А кто из вас может вспомнить: что держала в руке Венера?

– Мы оба хорошо помним, – закивали в ответ крестьяне.

– Так что же... ч т о?

– В руке у нашей красавицы было яблочко.

Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил:

– Неужели яблоко?

– Да, сударь, именно яблочко.

– А что держала ее вторая рука? Или вы забыли?

Старики переглянулись.

– Сударь, – ответил один из Буттонисов, – мы не можем ручаться за других Венер, но наша, с острова Милос, была целомудренной женщиной. И будьте покойны: ее вторая ручка не болталась без дела.

Жюль Ферри, вполне довольный, приподнял цилиндр:

– Желаю здоровья...

Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего воздуха.

Подъем в гору казался легок, как в детстве.

Итак, кажется, все ясно...

– Хороший господин! – раздался за его спиной дребезжащий голос; это Буттонис-сын, опираясь на палку, ковылял за ним следом. – Остановитесь, пожалуйста...

Ферри подождал, когда он приблизится.

– Не обессудьте на просьбе, – сказал старик, потупив глаза в землю. – Но священник говорит, что наша Венера стала очень богатой дамой. И живет теперь во дворце короля, какой нам и не снился. Это мы открыли ее красоту, ковыряясь в грязной земле, и с тех пор мы бедны, как и тогда... еще в юности. А ведь вот этими-то руками...

Ферри поспешно сунул старику монету.

– Хватит? – спросил насмешливо.

И, более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону близкого моря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за горою...

С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают археологи землю острова Милос – в чаянии найти, среди прочих сокровищ, и утерянные руки Венеры.

... Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что один бразильский миллионер за 35 000 долларов приобрел руки Венеры Милосской... Только руки! При продаже с него взяли расписку, что три года он должен молчать о своей покупке. И три года счастливый обладатель рук Венеры хранил клятву. Когда же тайна рук обнаружилась, ученые-археологи заявили, что эти руки – чьи угодно, только не Венеры Милосской. Проще говоря, миллионера надули...

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что я иногда думаю:

– А может, и не надо ей рук?

Наверное, не все читатели останутся мною довольны, ибо я не рассказал о Венере Таврической, которая с давних пор служит украшением нашего Эрмитажа. Но повторять рассказ об ее почти криминальном появлении на берегах Невы у меня нет желания, так как об этом уже не раз писалось.

Да, писали много. Вернее, даже не писали, а переписывали то, что было известно ранее, и все историки, словно сговорившись, дружно повторяли одну и ту же версию, вводя читателей в заблуждение. Долгое время считалось, что Петр I попросту обменял статую Венеры на мощи св. Бригитты, которые он якобы заполучил как трофей при взятии Ревеля. Между тем, как недавно выяснилось, Петр I никак не мог совершить столь выгодного обмена по той причине, что мощи св. Бригитты покоились в шведской Упсале, а Венера Таврическая досталась России потому, что Ватикан желал сделать приятное российскому императору, в величии которого Европа уже не сомневалась.

Несведущий читатель невольно задумается: если Венеру Милосскую нашли на острове Милос, то Венеру Таврическую, надо полагать, отыскивали в Тавриде, иначе говоря – в Крыму?

Увы, она была обнаружена в окрестностях Рима, где пролежала в земле тысячи лет. “Венус Пречистую” везли в особой коляске на пружинах, которые избавили ее хрупкое тело от рискованных толчков на ухабах, и лишь весной 1721 года она явилась в Петербурге, где ее с нетерпением ожидал император. Она была первой античной статуей, которую могли видеть русские, и я бы покривил душой, если бы сказал, что ее встретили с небывалым восторгом...

Напротив! Был такой хороший художник Василий Кучумов, который на картине “Венус Пречистая” запечатлел момент явления статуи перед царем и его придворными. Сам-то Петр I смотрит на нее в упор, очень решительно, но “Екатерина затаила усмешку, многие отвернулись, а дамы прикрылись веерами, стыдясь глядеть на языческое откровение”. Вот купаться в Москве-реке при всем честном народе в чем мама родила – это им не было стыдно, но видеть наготу женщины, воплощенную в мраморе, им, видите ли, стало зазорно!

Понимая, что не все одобряют появление Венеры на дорожках Летнего сада столицы, император указал поместить ее в особом павильоне, для охраны поставил часовых с ружьями.

– Чего разинулся? – покрикивали они прохожим. – Ступай дале, не твоево ума дело... царское!

Часовые понадобились не зря. Люди старого закала нещадно бранили царя-антихриста, который, мол, тратит деньги на “голых девок, идолиц поганых”; проходя мимо павильона, ста-

роверы отплевывались, крестясь, а иные даже швыряли в Венеру отрывки яблок и всякую нечисть, видя в языческой статуе нечто сатанинское, почти дьявольское наваждение – к соблазнам...

Шло время, Петра I не стало, отплясала свое веселая Елизавета, о Венере вспомнила Екатерина II, которая и подарила ее князю Потемкину для убранства его Таврического дворца (почему и сама Венера стала именоваться “Таврической”). Но после смерти Потемкина и Екатерины император Павел I подверг Таврический дворец нещадному погрому, желая обратить его в конюшни гвардии, и наша несчастная Венера долгое время находилась в забвении на складах гофинтендантской (придворной) конторы, всеми забытая, окруженная вещами, далекими от искусства.

О ней вспомнили лишь в 1827 году и отдали на реставрацию знаменитому скульптору Демут-Малиновскому. А в середине прошлого столетия Венеру торжественно внесли в здание Эрмитажа, где она красуется и поныне, сохранив свое прежнее название – Таврическая...

Свой короткий рассказ о двух прекрасных “сестрах”, Милосской и Таврической, я закончу отчасти неожиданно для читателя.

В пору душевного смятения и трагического надлома в жизни писатель Глеб Успенский, будучи в Париже, навестил Лувр и... надолго замер перед Венерой Милосской.

Встреча с нею стала для него целительной. “Это действительно такое лекарство, особенно ее лицо, ото всего гадкого, что есть на душе, – что я даже не знаю, какое есть еще другое?” – спрашивал он сам себя.

И произошло чудо: разом отпали душевные сомнения, жизнь заново осиялась волшебным светом, после чего Глеб Успенский *выпрямился* от былых невзгод, уверенный в себе и своих силах – как еще никогда не бывал он уверен ранее.

Чудо, спросите вы меня? Да, чудо, отвечу я вам. Потому-то он свою встречу с Венерой и запечатлел в очерке, который так и назвал: “В Ы П Р Я М И Л А”.

...Не будем же меркантильны, блуждая по залам музеев, стараясь по-обывательски угадать, сколько копеек или сколько миллионов рублей стоит тот или иной обломок человеческой древности.

Подлинное искусство оценивается не деньгами и тем более не стоимостью входного билета в музей.

Поверьте, оно способно изменить и улучшить наш бестолковый мир, в котором мы, грешные, еще живы; именно шедевры искусства способны “выпрямить” и всех нас, населяющих этот мир, чтобы мы стали чище, возвышеннее и благороднее...

Всего доброго, мой милейший читатель.

До встречи в Эрмитаже, а, может, и даже в Лувре.

Уверен, что многим из нас необходимо “выпрямиться”.

ОДИНОКИЙ В СВОЕМ ОДИНОЧЕСТВЕ

Время от времени оповещают нас о катастрофах в шахтах от взрывов рудничного газа, и я невольно вспоминаю Теодора Гротгуса. В летние сезоны пригородные электрички Риги переполнены приезжими, жаждущими исцеления на бальнеологических курортах, и я снова думаю о Гротгусе. Я слежу за падающей звездой – опять возникает Гротгус. Наконец, на улицах я вижу перекрашенных блондинок, пожелавших стать огненными брюнетками, и, черт побери, в моей памяти опять возрождается загадочный барон Теодор Гротгус...

Что мы знаем, читатель, об этом Мефистофеле? Справедливо, когда судьбою физика занимаются физики, о химиках пишут химики. Они со знанием дела выявляют суть научных процессов. Но их суждения о человеке остаются односторонними, ибо им зачастую чужды (а порою даже мешают) чисто человеческие черты ученого. В таких случаях литераторы смотрят шире: они ставят на первый план самого человека, а физические формулы или химические риторы служат лишь приятным декором к написанию портрета ученого. Об этом в свое время хорошо сказал еще Николай Лесков: «Литератор не ученый, но он более чем ученый. Он не так фундаментально образован, как последний, но он всестороннее его...»

Ладно! Я не собираюсь наживать себе врагов в мире науки и техники, а, чтобы избежать нареканий ученых, приведу здесь цитату из авторитетного академического справочника, в котором о бароне Гротгусе сказано, что он *«изложил первой закон фотохимии, гласящий, что только поглощенный свет может вызвать хим. превращение (закон Гротгуса). Открыл явление ускоренного окисления веществ свободным кислородом под действием света и тем самым вплотную подошел к известной в настоящее время теории фотохимии, активации кислорода. Установил влияние температуры на поглощение и излучение света...»*

Из подобных слов, не имея технического образования, не догадаться, что за списком научных открытий Гротгуса затаилось, как хищный зверь в засаде, трагическое одиночество человека, который хотел спасти самого себя.

Именно спасти, ибо он не мог больше жить!

Зимой 1785 года доктора Моруса, куратора Лейпцигского университета, навещил странный человек, назвавшийся поэтом:

– Меня зовут Христиан Вейсе. Я зашел к вам, чтобы с вашего позволения был выписан студенческий матрикул.

– На чье имя? – величаво осведомился куратор.

– На имя барона Христиана-Иоганна-Дитриха Гротгуса, семья которого из Митавы, столицы Курляндского герцогства.

– Прекрасно! – согласился Морус, имевший давнюю слабость к титулам, и уже придвинул к себе лист бумаги. – Но я должен знать о возрасте нашего нового студента.

– Об этом лучше не спрашивайте, – захохотал поэт. – Наш высокочтимый студент родился только вчера. Я, как его крестный отец, разумно решил, что для младенца нет лучшего подарка на свете, чем зачисление в студенты с пеленок.

– Это невозможно! – отбросил перо куратор.

– А почему же? – удивился писатель. – Курляндия, как и Карелия, издревле поставляла Европе волхвов, звездочетов и алхимиков. Откуда вы что знаете? Может, отказывая младенцу в матрикуле, вы лишаете мир нового волшебника Нострадамуса.

Христиан Вейсе все-таки уговорил Моруса, и куратор сдался на уговоры, узнав, что бароны Гротгусы занимают не последнее место среди курляндской знати. Весьма довольный, поэт навещил гостиницу, в которой супруги Гротгусы остановились проездом на родину, и торжественно возложил удостоверение студента поверх орущего в колыбели младенца:

- Пусть он сразу набирается высокого разума.
- Наш сын будет камергером, – отвечала гордая мать.
- Скорее уж... музыкантом, – скромно заметил отец...

Здесь я вынужден сделать паузу, дабы сообщить малую толику о том, кто такие Гротгусы (“гротен гусен” – большой дом). В давние времена один из “большого дома” Гротгусов был послом Ливонского ордена при царе Иване Грозном; уже тогда Гротгусы владели землями под городом Бауском – именно там, где сейчас красуется дворец-музей Рундале (Руентале), место паломничества многих туристов. Бароны, судя по всему, были большими непоседами, они слонялись по Европе как неприкаянные, служили то в прусской, то в русской армиях – как им хотелось.

Отец нашего героя Эвальд славился в Германии как пианист и композитор, но, пораженный глухотой, рано умер, оставив годовалого сына на руках молодой вдовы, происходившей тоже из Гротгусов, а значит, родственной мужу. При этом я начинаю думать: не кроется ли в родстве отца и матери та генетическая тайна природы, которая от рождения заложила в их ребенка ту невыносимую боль, от которой Гротгус всю жизнь не мог избавиться, словно наказуемый за грехи родителей?

Овдовев, баронесса Гротгус увезла болезненного ребенка в свое родовое имение Геддуц (ныне Гедучай), заброшенное в тех местах, где земли литовские смыкались с курляндскими. Здесь мальчик был окружен книгами отцовской библиотеки, коллекциями минералов, играл на рояле, доставшемся его отцу от Эммануила Баха; желая рисовать, сам пробовал составлять краски. Он мечтал быть художником или музыкантом, но... Не от этих ли красок и зародилась в нем первая любовь к химическим опытам? Мальчику исполнилось десять лет, когда Курляндия вошла в состав великой Российской империи, и таким образом Гротгус с детства ощутил себя русским подданным.

Тщеславная мать иногда вспоминала о матрикule:

– Но я думаю, сын мой, что в науку пусть идут дети аптекарей и пивоваров, а тебе лучше подумать о здоровье...

Непонятные боли накатывались на мальчика приступами, всегда неожиданными, но мучительными. Мать возила сына лечиться в Митаву, где у Гротгуса завелся приятель. Это был аптекарский ученик Генрих Биддер, по роду своего ремесла знакомый с химией. В те времена аптекари готовили даже ликеры и марципаны, отчего в аптеках всегда толпились люди, алчущие выпить и обсудить прочитанное в газетах. Мальчики тоже лакомились сладостями, они играли с шариками ртути, потом ставили с ртутью опыты. Биддер был сирота, он завидовал барону:

– У тебя матрикул уже в кармане, а мне, видит Бог, всегда оставаться в аптеке на побегушках.

– Не горюй, Генрих, – отвечал Гротгус. – Я вернусь из Лейпцига ученым, и ты поставишь мне хороший клистир...

Ему бывало грустно покидать оживленную Митаву, снова возвращаясь в имение, окруженное мрачными лесами, в которых по ночам завывали волки да гугукали зловещие филины. Мать вышла замуж за лесничего Закена; воспитание ее сына довершали заблудшие в эти края гувернеры, строгие менторы в вопросах морали и философии. Один из них, некто Бреннеке, был явно помешан на том, что Христос все-таки сорвался с распятия.

– Гвозди не выдержали груза его святости, и, бежав с Голгофы, он еще двадцать семь лет скитался среди людей...

Если отбросить этот пункт помешательства, то в остальном Бреннеке был полезным учителем, знатоком истории и литературы, но он терпеть не мог химии, давая ученику пощечины:

– Оставьте свои смрадные опыты, лучше играйте на рояле. Неужели в этих занятиях вы сами не видите следы откровенного чародейства, похожего на общение с дьяволом?..

Включение Курляндии в состав России совпало по времени с Французской революцией, а Митава сделалась как бы “проходным двором” между Европой и Петербургом; латышский историк Ян Страдынь писал, что “все находилось в движении, ожидании, постоянной смене идей и событий”. Бреннеке недаром пугался зловещей магии химических опытов, ибо Митава в ту пору знала всяческих кудесников – вроде Магнуса Кавалло, возвращавшего дамам косметическую молодость, в салонах титулованной знати веяло сатанинским духом от заклинаний с “того света” графа Калиостро, а знаменитый бабник Джованни Казанова был попросту изгнан из Митавы – как опытный шулер и торговец любовными эликсирами собственной выделки...

Имя генерала Бонапарта уже гремело в Европе, когда юный Гротгус дружески обнял печального Биддера:

– Прощай, добрый лакомка Генрих! А мы с тобой славно проштудировали Лавуазье по книжкам Гермштедга.

– Ты едешь в Лейпциг? – вздыхал Биддер. – Но, по слухам, профессура в Лейпциге столь безграмотна, что с ее помощью не отравить даже полудохлой подвальной крысы. Будь я на твоём месте, я бы сразу махнул в Париж, где консул Бонапарт не чуждается самой смелой науки...

Биддер оказался пророком: Гротгус нашел в Лейпциге кафедру химии в дурном состоянии, а тамошняя профессура ковырялась в лабораториях, больше похожих на запущенные сараи. Поздней осенью Гротгус велел запрягать лошадей в карету:

– Генрих прав – надо ехать в Париж...

Политехническая школа Парижа, обласканная Бонапартом, блистала знаменитостями века, и в общении с их умами Гротгус жадно поглощал знания: слог его речи и письма обрел французскую изящность, столь далекую от тяжеловесности лекций немецких профессоров. Однако занятия сказались на его здоровье, вскоре Гротгус заболел нервным переутомлением.

– Болит... все болит, – жаловался он слуге Петеру.

Неожиданно его вызвали в русское посольство.

– К сожалению, – было ему сказано, – генерал Бонапарт не довольствовался званием консула, пожелав стать императором. Уже клубятся тучи новой войны, а вам, как российскому подданному, следует покинуть пределы безумной Франции...

Из Марселя он отплыл на корабле в Италию, эту стародавнюю родину гальванизма, и по ночам, стоя на корме, подолгу наблюдал за фосфорическим свечением моря, мечтая о разгадке дивного явления природы. В пути он узнал, что ожидается извержение Везувия, и поспешил в Неаполь, чтобы не пропустить это редкое зрелище. Здесь, общаясь с иностранцами, Гротгус сократил свое тройное имя, называя себя “Теодором” (и с этим именем он вошел в науку). Итальянцы тогда увлекались тайнами электричества, порою видя в нем только забаву, всюду, куда ни придешь, ставили примитивные опыты: красавицы дарили пылкие поцелуи, называя их “электрическими”. Английский врач Томпсон преподнес Гротгусу гальваническую батарею:

– Пусть она вызовет у вас приятные ощущения, когда вы вернетесь в свою Курляндию и станете вспоминать Италию...

Распознать причину болей Гротгуса врач не смог, но ознакомил его с богатой коллекцией старинных ядов.

– Выберите сами для себя яд, который я согласен подарить вам в знак нашей дружбы, – сказал Томпсон.

Везувий был беспокойным, и скоро в Неаполе появился знаменитый Александр Гумбольдт, который охотно привлек Гротгуса в свою компанию ученых и художников. 12 августа вулкан заработал, заодно с друзьями Гумбольдта юный курляндец поднялся на вершину вулкана, смело заглянул в kloкочущий кратер.

– Не дышите! – издали крикнул ему химик Гей-Люссак. – Вы можете отравиться газами земной преисподней.

– Напротив, – отвечал Гротгус, – газы, наверное, еще пригодятся нам, как и электричество. Но если газы нельзя потрогать, то почему бы их не понюхать?.. – Он дождался второго извержения Везувия, а время ожидания, пока вулкан грозно молчал, Гротгус заполнил изучением гальванического электролиза, бился над выделением водорода и кислорода на разных полюсах батареи. Не прошло и трех месяцев, как в Риме издали его *первый* научный труд “О разложении посредством гальванического электричества воды и растворенных в ней веществ”; из Италии слава о молодом ученом незаметно перепорхнула в Париж, а доктор Томпсон переслал труд Гротгуса в лондонские журналы; наконец, имя курляндского барона с почтением произносили в кругу немецких ученых. Быстро освоив итальянский язык, Теодор Гротгус не спешил на родину, поглощенный разгадкой тайных ночных светляков, которых он безжалостно окунал в воду или в масло, окуривал их парами азота, а потом они заново оживали в струе кислорода. Пожалуй, никто еще до Гротгуса не занимался этой проблемой.

Настал 1806 год, когда Гротгус, томимый неясными предчувствиями, велел Петеру собирать багаж в дальнюю дорогу.

– Мы вернемся в Гедучай? – обрадовался слуга.

– Сначала навестим Париж...

В дороге, уже миновав Милан, Гротгус, утомленный, дремал в карете; была ночь, и было тихо, только мерно постукивали копыта лошадей. Дверца кареты вдруг распахнулась, при свете факелов Гротгус увидел два нацеленных на него пистолета, которые держал разбойник в черной маске.

– Кошелек или жизнь! – потребовал он.

Гротгус заметил, что тут целая банда, и ответил:

– Благородные синьоры, моя жизнь только еще начинается, а монеты в моем кошельке кончаются. Убедитесь сами...

Не поверив ему, бандиты разграбили весь багаж, и только тогда, убедившись в бедности путника, они с руганью исчезли во тьме. Гротгус рыдал на плече верного Петера.

– Что плакать, сударь, коли мы живы остались?

– Ах, Петер! – отвечал барон. – Я жалею не свою жизнь, а те раритеры, что собрал в Италии, теперь у меня осталось только вот это... порция яда из старинной коллекции!

Париж! Здесь, незаметный в пляде ярких светил науки, Гротгус все же не затерялся, работая над газами; став почетным членом Гальванического общества, он был выдвинут Гей-Люссаком на соискание золотой “наполеоновской” медали.

– Покажите медаль, барон, – просил вечером Петер.

– Ее получил английский химик Гемфри Дэви, который во многом следует моими же путями, – подавленно отвечал Гротгус. – Кажется, Петер, снова пришло время паковать багаж.

Гей-Люссак отговаривал его от возвращения на родину:

– Вы не боитесь пропасть в Курляндии, где, насколько я извещен, полно волков, медведей, болот и комаров? Где же вы там, в лесу, сыщете даже пустынный гальванометр?

– Я поймаю на болоте лягушку, распну ее на доске, и судорогой своих лапок она ответит мне на колебания тока. Нет, я не боюсь вернуться в родную глушь, ибо мне уже достаточно ясны проблемы, волнующие европейских ученых, а там, в своем Геддуче, я буду избавлен от влияния авторитетов. Там меня не коснутся академические интриги и соперничество...

По дороге на родину Теодор Гротгус был извещен, что Туринская академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. Проезжая через Митаву, он велел задержать лошадей возле городской аптеки, украшенной чучелом страшного крокодила:

– Эй, как поживает аптекарский подмастерье?

Но Генрих Биддер, друг детства, уже стал известным врачом и сам владел аптекой. Они обнялись. Люди тогда были слишком сентиментальны, встреча стоила им немалых слез.

– *Спаси* меня, – вдруг сказал Гротгус. – Я привез из Европы такую страшную боль в своем теле, что каждый прожитый день обращается в чудовищную пытку. Никто ведь еще не знает, что я живу на краю могилы и даже в своих опытах ищу секрет лекарства, способного исцелить меня.

Генрих Биддер угостил его крепким ликером.

– Что могу сделать я, скромный врач из Курляндского захолустья, если тебе не могли помочь лучшие врачи Европы? Впрочем, барон, моя аптечная лаборатория к твоим услугам...

“Как дорог он мне был! – вспоминал позже Биддер. – К сожалению, как врач, я мог ему быть столь же мало полезен, как и остальные мои митавские коллеги. Он страдал неизлечимым органическим недугом в брюшной полости, истинный характер которого не выяснен. К тому же он жил духовной жизнью, а последняя полностью подавлялась физическим страданием”.

Гротгус вернулся в карету, долго сидел в оцепенении.

Петер сам указал кучеру заворачивать лошадей на Бауск:

– Оттуда лишь двадцать верст до нашего Гедучья...

Открылась новая полоса жизни Теодора Гротгуса, которая может вызвать удивление небывалым мужеством этого хилого человека, искавшего спасения в неустанной работе. Мать Гротгуса опять овдовела, ученый обрел нового отчима – русского полковника Альбрехта. Маменька оказалась прижимиста, даже усадьбу сыну сдавала в аренду. Местное баусское дворянство откровенно посмеивалось над Гротгусом, ибо его жизнь была очень далека от той жизни, какой жили они, и Гротгус, явно обозленный на соседей, перестал украшать свою фамилию титульной приставкой “фон”. В одиночестве отчуждения, сам одинокий, он нашел друга и помощника в своем лакее Петере.

– Конечно, – делился он с ним, – для соседей я непонятен, и, чего доброго, в глазах местного рыцарства я выгляжу помешанным чудаком. Наверное, так и есть, ибо я не секу своих крестьян, а их сирот считаю своими детьми. Наконец, я не гнушаюсь выгонять глистов у своих же рабов-крепостных...

Иногда по ночам из окон усадьбы вдруг вырывалась музыка – это Гротгус почти с яростью обрушивал свои костлявые пальцы на клавиши баховского рояля, доигрывая те мелодии, которые не успел доиграть его покойный отец. В таких случаях гедучьяские крестьяне жалели своего господина:

– Мучается! Опять у него болит... помоги ему Бог.

Хотя бы на одну минуту, читатель, погрузимся в потемки заброшенной усадьбы, представим себе обстановку примитивной лаборатории, где лягушки заменили гальванометры, куда с большим опозданием доходили известия о новых открытиях в науке, а почтальоны никогда не навещали барона-отшельника, – и вам станет ясно: да, такая жизнь – почти подвиг! Но страшно подумать, что даже в подобных условиях, почти одичав, не мысля о семейном счастье, совсем одинокий, почти отверженный обществом, Теодор Гротгус продолжал побеждать боль, и, побеждая боль, он работал. Но... как? Иногда барон лишь выдвигал гипотезу, лишенный возможности подтвердить ее экспериментом, ибо у него не было нужных приборов, а лейденские банки он сам мастерил из обыкновенных стаканов. Но, даже ошибаясь, даже открывая заново многое из того, что уже было открыто другими, Гротгус “затронул вопросы молекулярной физики и химии, учения об электромагнетизме и фотохимии, астрофизике и биологии, бальнеологии и медицине”, так писал о нем профессор Ян Петрович Страдынь, лучший знаток биографии Гротгуса...

1812 год слишком известен, но для Гротгуса он оказался роковым. Весною, еще до нашего вступления Наполеона, вся Англия невольно вздрогнула от взрыва на шахтах Феллинга, взрыв рудничного газа разметал по штрекам останки погибших шахтеров. Гротгус, узнав об этом, сказал Петеру:

– Для меня этот взрыв знаменателен! Я ведь еще в Неаполе занимался воспламенением газов при давлении и, помнится, не раз беседовал об этом с Гумбольдтом... Мне интересно, что теперь скажет мой английский коллега Дэви?

Но сначала отозвалась война. Неожиданно в Гедучье появились конные драгуны Ямбургского полка, пьяный майор Буткевич напал на Гротгуса, его сабля оставила на голове ученого рану и разрубила ему пальцы. Гротгус, ни в чем не повинный, показал Петеру свою искалеченную руку:

– Думать я еще способен, но вот... музыка! Как теперь подойти к роялю с этими культячками пальцев?

Корпус маршала Макдональда двигался на Митаву, под угрозой нашествия оказался близкий Бауск, и тогда Гротгус бежал в Петербург. На берегах Невы его встретили радушно, технические журналы Петербурга стали публиковать его статьи.

– Наконец, – доказывали ему русские ученые, – что вы там спрятались в своем имении? Не пора ли выходить в широкий мир и занять кафедру химии в Юрьевском университете?

– Но я же не имею никакой научной степени, у меня лишь матрикул студента, но я никогда не держал в руках диплома.

– Э, не беда! Немало дураков имеют научные титулы, да зато не имеют знаний, какими обладаете вы...

Увы, боли становились нестерпимы, и, полусогнутый от страданий, Гротгус – после изгнания Наполеона – вернулся в тишь своего имения. Отсюда лишь две дороги: до почты Бауска, чтобы отправить письма, и до Митавы, где добрый Биддер утешит в сомнениях, окружит лаской своей семьи; наконец, в аптеке есть такие приборы, каких нет у него, у Гротгуса.

– А если... жениться? – не раз намекал дружище.

– Да кому я нужен такой? – скорбно ухмылялся Гротгус.

Конечно, больной человек остается больным, и он согласится на все, лишь бы избавиться от раздражающей боли.

– Господи, – однажды взмолился Гротгус, – где оставить мне свою боль, подобно тому, как рептилия оставляет свою отжившую гадкую кожу? Великий стоик Зенон лишил себя жизни, не в силах превозмочь боль от ушиба пальца на руке. Так что его палец по сравнению с болью всего тела?

Петер готовил ему горячие ванны из перегнившего навоза, из благоуханного раствора лаванды, фиалок и роз; он же подсказал, что неподалеку, в местечке Смардоны, текут целебные воды. Правда, крестьяне издавна лечили свои недуги в водах лесных ручьев или сидя по самое горло в грязи болот; известно, что великий пересмешник Денис Фонвизин тоже искал спасения на водах Балдоне (там, где ныне известный латвийский курорт), – Гротгус сам делал анализы минеральных источников, но они, шипящие, словно шампанское, мало помогали ему.

– Кажется, – рассуждал он, – Сенека был прав, говоря, что не все нам открыто, а многое решится в будущем, когда не станет меня, уставшего страдать... Ведь я полез даже в грязь, беря пример со свиньи. Откуда мы знаем истину? Может, грязь для свиньи – лучшее лекарство из природной аптеки?..

После войны Баварская Академия наук избрала Гротгуса своим членом, но у себя дома он признания не получил. Вскоре английский химик Дэви изобрел безопасную лампу для рудокопов, используя для ее создания те идеи, суть которых давно высказывал Гротгус. Однако все лавры достались Дэви, и между ними, ставшими соперниками, возникла резкая полемика в печати.

– Сэр Дэви, – с обидой говорит Гротгус, – упоминает мое имя лишь там, где находит ошибки в моих расчетах, но зато он коварно молчит обо мне, приписывая себе мысли, родившиеся в моей голове... еще тогда – в Неаполе!

Все это никак не улучшало состояния Гротгуса: и без того замкнутый, он сделался мрачным, нелюдимым, раздражительным.

Изредка его навещал в имении Генрих Биддер:

– Съездим в Митаву! Курляндское общество любителей науки и художников просит тебя подумать, почему пожары в городе чаще всего начинаются с загорания крыши...

Он писал о Гротгусе с большим сожалением: “Врожденная благожелательность к людям напоследок часто затемнялась подозрением и недоверием... Поспешные выводы из неполных и прерванных наблюдений, от которых он вынужден был потом отказаться, очень его огорчали. Он часто говорил, что потомство будет смотреть на него с презрением и насмешкой”.

– К чему мне эта печальная жизнь, – не раз слышал Биддер от Гротгуса, – если я не могу работать в полную силу, начиная впадать в крайности выводов или заблуждаясь в них. Разве не кажется тебе, что моя жизнь клонится к концу? Я уповал на врачей и аптеки, сам лечил себя всякой дрянью, а теперь, истерзанный болями, ищу избавления от боли даже в ядах.

– Что ты принимал? – насторожился Биддер.

– Сок анчарного дерева.

– Будь разумнее, – предупредил Биддер...

Нюрнберг приступил к изданию сочинений Теодора Гротгуса.

Он еще работал, и один Петер знал, каких усилий это ему стоило. Гротгуса увлекал таинственный мир метеоритов, иногда навещавших Землю из космоса, попутно он разрешил вопрос о химической окраске волос. Весна 1822 года выдалась ранняя, широко разлились внешние воды, и Гротгус, всегда одинокий в своем одиночестве, не мог проехать даже до Бауска, чтобы забрать свежую почту. Боль и тоска, тоска и боль... Изуродованной рукою Гротгус однажды вывел поверх листа дешевой писчей бумаги:

“Моя последняя воля...” В завещании он давал волю слуге Петеру, просил его носить фамилию “Данкер”.

– Неужели конец? – спросил он сам себя.

Он отодвинул яд, подаренный ему в Неаполе английским врачом Томпсоном, и деловитым жестом открыл футляр с тяжелыми карлсбадскими пистолетами. Проверил работу курков...

14 марта в деревне Гедучай крестьяне проснулись от одинокого выстрела – с болью было покончено. Навсегда!

Бурное половодье затопило проселочные дороги, и в Митаве не сразу узнали, что Теодора Гротгуса не стало.

Но одиночество не исчезло – даже после его смерти.

Генрих Биддер, всплакнув, составил письмо-некролог для публикации его в журналах Петербурга, а митавская газета помянула о завещании Гротгуса – слишком щедром. Но тут сразу же вмешался весь “большой дом” Гротгусов; родственники покойного возмутились, что он завещал свое состояние не им, а крестьянам, дабы избавить их в будущем от податей.

– Разве вы не знаете, что барон Гротгус был давно помешан? – напористо доказывали его родичи юристам. – Какое же это завещание, если оно составлено в припадке безумия, и не на гербовой, а на простой писчей бумаге...

Вместе с завещанием был предан забвению и сам ученый – так, что даже от могилы его на опушке гедучайского леса не осталось никаких следов, будто и не было человека. Сейчас на месте имения Гротгуса расположен литовский колхоз, старики показывали Яну Страдыню липовую аллею:

– От своих дедов мы слышали, что в конце аллеи когда-то находился могильный склеп... Там уже ничего не осталось!

Знатные наследники сделали все, чтобы до самого исхода столетия имя Гротгуса даже не упоминалось. Но ученые вышли на те рубежи открытий, к которым всю жизнь стремился

одиноким Теодором Гротгусом. Пришло время назвать имя первооткрывателя, и в 1892 году К. А. Тимирязев провозгласил громадное значение идей Гротгуса для развития науки в будущем времени.

Гротгус, как самоучка, ошибался во многом, но он никогда не ошибался в главном – в тех проблемах, которые обязательно возникнут в грядущей эпохе, в наши дни, читатель.

Злые и ограниченные людишки старались, чтобы имя этого человека исчезло из памяти потомства, а сейчас наши ученые делают все, чтобы воскресить его из мрака забвения.

Но каждый, кто хоть раз прикоснулся к личности Гротгуса, всегда удивляется, невольно восхищенный:

– Как этот несчастный “автодидакт”, измученный болями и одиночеством, мог прийти к таким выводам, о которых тогдашняя наука Европы не имела даже представления... Конечно, в судьбе Гротгуса все трагично. Но скажите, когда и в каком гении не было заложено признаков трагедийности?

Сандуновские бани

Наверное, и не следовало бы именно так называть миниатюру, но дело в том, что Сандуновские бани в Москве всем известны, а вот о супругах Сандуновых мы позабыли... Жаль!

Напомню, что был конец царствования Екатерины Великой, а ее политику осуществлял сластолюбивый А. А. Безбородко, будущий князь и канцлер, известный “фактотум”, что на русский лад звучит проще – мастер на все руки. Уж сколько он девиц на своем веку перепортил, а все ему было мало... Тут на сцене придворного театра в Эрмитаже явилось новое чудо – юная певица Лиза Федорова, запевшая под сценическим именем Уранова, ибо как раз в ту пору астрономы, дядьки зело ученые, открыли Уран – планету, доселе неизвестную обывателям. Отплясывая, как резвая пастушка, Лиза Уранова спела придворным:

По моим зрелым годам
Муж мне нужен поскорей,
Жизнь пойдет с ним веселей,
Ах, как скучно в девстве нам!

Уродливый Силен, сидя в ложе, плотоядно облизнулся:

– Эк, хороша! Надо бы ее залучить в тень альковную... дабы не было ей скучно в девстве своем...

Поставкой “живого товара” для Безбородко ведали два его неразлучных прихлебателя – Вася Кокушкин, основатель знаменитой купеческой фирмы в Петербурге, и Андрюшка Судиенко, основатель богатейшей дворянской фамилии на Черниговщине.

– Это мы мигом! – обещали они своему сюзерену.

Узнали, что Лиза проживает в театральном пансионе Казасси, и нагрянули к ней с угрозами, обещая карьеру завидную. Вернулись же они в таком виде: Кокушкин с синяком под глазом, а лицо Судиенко в царапинах, будто он с кошками воевал.

– Кобенится, – объяснили они гордость певицы. – Сама чулки штопает, на ужин кашу варит из перлов, а... кобенится!

– Значит, умная, – вздохнул Безбородко. – Прежде ей платить надобно. Бесплатно-то кто ж с девичеством расстанется? Одни лишь дуры не дорожат целомудрием... Все едино, – решил Безбородко. – Лизанька Уранова не устоит предо мною...

И прошелся чурбан по комнатам, прихлопывая в ладоши:

Ты не думай, дорогая,
Чтобы я тобой шутил.
Ты девица не такая,
Чтоб тебе я досадил.

И тут Васька Кокушкин (с синяком под глазом) и Андрюшка Судиенко (с расцарапанной рожей) стали приплясывать, чтобы угодить своему высокому начальству:

Люблю милу простоту —
Непритворну красоту...

Два слова о Безбородко, – вот он, полюбуйте: большая уродливая голова, жирные отвислые губы, а щеки свисали на воротник дряблыми брылями, с толстых ног Безбородко чулки всегда сползали неряшливыми “трюбушонами” (складками). Внешность, согласитесь,

неважная, но он был умен: историк Н. М. Карамзин признавал его государственный ум, сожалея, что в нем нет “ни высокого духа, ни чистой нравственности”. О нравственности и говорить не стоит: в романе “Фаворит” я уже привел документальный рассказ о том, как Безбородко выбрасывали из окон публичных домов Петербурга...

Безбородко слал Лизаньке Урановой чулки и конфеты, иногда бриллиантами баловал – устояла; карету подарил с рысаками – нет, не сдастся, тварь эдакая! Напротив, в опере “Cosa gara” (“Редкая вещь”) Лизанька вышла на край сцены и пропела прямо в сторону млевшего Безбородко:

Престаньте льститься ложно,
Что деньгами возможно
Любовь к себе снискать,
Здесь нужно не богатство,
А младость и приятство...

Все поняли смысл куплетов, а Безбородко, чтобы не выглядеть сущим дураком, громче всех аплодировал и кричал:

– Фора! Bravo-брависсимо... еще разок, Лизанька!

Наконец он не выдержал и отсчитал 80 тысяч рублей (ассигнациями), наказав Ваське с Андрюшкой ехать к Лизе и сказать, что это только аванс, если согласится его уважить. Кокушкин и Судиенко вернулись, крепко зажмурившись, будто они очень долго взирали прямо на солнце.

– Приняла аванс? – спросил у них Безбородко.

– Приняла, – отвечали сикофанты, глаз не открывая. – Она как раз печку растапливала, да дрова ей попались сырые, и все восемьдесят тыщ так и всунула в печку... на растопку! Ух, и вспыхнуло тут, мы ажно ослепли, увидев, как горят денежки.

Безбородко даже заплакал:

– Во, язва какая! Хоть бы поцеловала разочек, окаянная. Я ли не щедрился, я ли жалел для нее корзины с конфетами, я ли... Не последний, кажись, человек в империи Российской!

Но вскоре выяснилось нечто ужасное: Лиза влюблена без памяти в молодого актера из грузинских дворян Сильво Сандукели, что по-русски зовется Силой Николаевичем Сандуновым, – отсюда, мол, и происходит неуступчивость. После этого начались безобразные гонения на Силу Сандунова, его низвели до ролей лакеев, чтобы являлся на сцене в ливрее с классическим выражением “кушать подано”. Екатерина, не видя своего любимца на сцене в Эрмитаже, уже не раз спрашивала:

– Почему я Силы моего не встречаю в главных ролях?

– Болен, – обманывали ее, услужая Безбородко...

Догадываясь о плутнях своих придворных и уже достаточно извещенная о романе Лизы Урановой и Силы Сандунова, она подарила ей перстень в 300 рублей, и “при отдаче было приказано сказать (Лизе), чтобы никому иному, кроме жениха, перстня не отдавала”. Гонимый Безбородко и его “исполинами” (как называл он вельмож), Сандунов домогался бенефиса, и бенефис ему дали, но даже не в Эрмитаже, а в публичном театре на Марсовом поле. Этот бенефис состоялся 19 января 1791 года, и такого зрелища публика ранее не видывала... Прервав представление на сцене, Сандунов вдруг вышел к рампе и обратился к публике со стихами, коих не было в пьесе и которые явились оплеухой для театрального начальства:

Служил я рабски, был я гибок, как слуга.
Но что ж я выслужил? Иль брани, иль рога...

Теперь иду искать в комедиях господ,
Мне б кои за труды достойный дали плод,
Где б театральные и графы и бароны
Не сыпали моим Лизеттам миллионы...

Тут все поняли, кого он имеет в виду, и стали рукоплескать актеру, который не утратил бросить вызов всемогущему вельможе. Петербург веселился, потешаясь над Безбородко, и тот срочно “заболел”, при дворе не являясь, а Екатерина сказала секретарю своему Храповицкому, что причина “болезни” ей хорошо известна:

– Его мой Силушка Сандунов стихами своими, будто оглоблей по макушке, ошаршил, вот и захворал срочно...

Кто же сочинил стихи, которыми актер отомстил всемогущему вельможе? Говорят, их написал поэт; почуяв неладное, Иван Андреевич, будущий Крылов, тогда еще начинающий баснописец, из столицы скрылся в провинции, а театральное начальство, дабы угодить Безбородко, сослало Силу Сандунова в Херсон, чтобы забыл про актерство, назначив его “лазаретным служителем”. И повезли жениха Лизы на почтовых. Скоро-скоро везли, да под конвоем – не рыпнешься...

Вскоре Лизе Урановой предстояло петь в опере, а голосом она обладала – чистым, как хрусталь, и звонким, как золото, слушать ее императрица любила. Вот она и сейчас довела до конца ритуальную, пропев с особым выражением:

Королева, королева,
Не имей на нас ты гнева,
Что нарушим твой покой:
Нас обидел барин злой...

При этом она выхватила из-за корсета кисет с золотом, который ей прислал Безбородко, и швырнула его прямо в него, словно бульжник. Потом рухнула на колени, протягивая к Екатерине бумагу с прошением на “высочайшее имя”.

– Подайте! – велела Екатерина и тут же удалилась из театра.

Пройдя в свой кабинет и прочитав прошение, в котором Лиза писала, что жениха ее уже повезли в Херсон, дабы лишить ее любовного счастья, императрица сразу же крикнула:

– Эй, кто там в передней? Звать ко мне Франца Чинати...

Итальянец Чинати был ее лучшим кабинет-курьером, который не ездил по России, а летал, словно птица. Екатерина начертала записку: “Делать без прекословия, что мой курьер скажет” – и эту бумагу вручила итальянцу:

– Франц, догони Силу Сандунова, которого в ссылку увозят под караулом. С этой бумагой, мною писанной, слово твое станет равняться по силе с моим тронным указом... Пошел!

Узнав об этом, при дворе все притихли, “приверженцы” Безбородко ходили повеся головы: Кокушкин три дня даже вина в рот не брал, а Судиенко говорил, что уйдет в монастырь, и все время, готовясь в монахи, он распевал акафисты... Безбородко в эти дни снова “болел”, говоря своим верным сикофантам:

– Откуда такое упрямство в этой театральной девке, какого даже у княжеских дочек отродясь не встречал?

Екатерина, с нетерпением ожидая Чинати, удалила в отставку Саймонова, ведавшего делами театральными, на его место определила князя Николая Борисовича Юсупова. Наконец через три дня в кабинет Екатерины ввалился, падая от усталости, Франц Чинати и втащил за собой бледного Сандунова.

– Вот он, матушка! Нагнал его за три версты от столицы на тракте уже белорусском... Стой прямо! Не дыши.

– Не дыши, – подтвердила императрица, обращаясь к актеру. – Стой прямо, а я сяду и стану писать стихи к твоей свадьбе...

Мастерица на все руки, она тут же набросала стихи:

Как красавица одевалась,
Одевалась, снаряжалась
Для милого друга,
Жданного супруга...

14 февраля молодых обвенчали в придворной церкви. Екатерина прочитала Лизе свои стихи, одарила ее 300 рублями и дала невесте гарнитур из атласа. Безбородко, делая вид, что рад счастью молодых, прислал Лизе Сандуновой шкатулку с бриллиантами, но молодожены тут же отнесли ее в столичный ломбард, где все бриллианты пожертвовали на бедных сирот столицы.

Здесь я могу сказать, что Екатерина в этой истории повела себя благородно, а вот ее придворные таким благородством не обладали. Князь Юсупов, аристократ, терпеть не мог Сандунова, который величал себя дворянином грузинским.

– Это надо еще проверить в департаменте герольдии, какой ты дворянин. Был бы дворянин, так в комедианты не пошел бы...

Казалось, Юсупову доставляло удовольствие преследовать актерскую пару своей злобой: к подъезду театра, когда актеров развозили по домам после спектакля казенные лошади, князь подавал для Лизы Сандуновой какую-то развалюху-колымагу, в которую впрягли двух старых кляч; Юсупов отобрал у Сандуновых все старые роли, а новых не давал. Наконец, однажды он нагло заявил Силе Николаевичу:

– Вот разведись со своей балаболкой, так я из тебя корифея сделаю, а на развод десяти тысяч не пожалею...

Дальше – хуже: Юсупов объявил Сандуновых под домашним арестом, к дверям их дома приставил караул солдат, которые подъели в их доме все съедобное и выпили все, что пьется и не пьется; актеров же князь велел держать на воде с хлебом, даже яичка куриного не давал им. Сила Николаевич в споре с князем однажды посмел именовать себя “гражданином”, и Юсупов сразу оповестил императрицу, что Сандунов это крамольное слово произносил с “казистой дерзостью, со всеми правилами бунта”, почему на казенную сцену его допускать нельзя.

– Сошлись мы с тобою, Силушка, и не я ли столь много несчастий у порога твоего встрясла, будто мусор из подола?

– Бежать надо, – отвечал Сандунов жене.

– Эх, милый! Далее театра не убежишь...

Очередная война с Турцией завершилась победоносным миром, подписанным Безбородко, отчего он еще более возвысился. Потемкина уже не было на свете, а сама Екатерина быстро угасала, почти больная от чувственной любви к молодому Платону Зубову... Сандуновы нашли случай повидаться с императрицей, чтобы пожаловаться на горькую судьбину, но она призналась в своем бессилии перед придворной камарильей:

– Что я, слабая женщина, могу для вас сделать? Придворные обведут меня, как дурочку, вокруг пальца, и мне с ними не совладать, посему вам лучше из Санкт-Петербурга удалиться, чтобы придворные отлипли от вас, как худые банные листья...

1 мая 1794 года “высочайше соизволили актеров Силу Сандунова и жену его Елизавету Сандунову по желанию их, от придворного театра уволить” – так было сказано в прощальном рескрипте. Ну что ж, можно упаковывать вещи дня отъезда...

Ехали они в Москву, где Сила Сандунов начинал свою актерскую жизнь, и в долгой дороге, ночуя на станциях, он убеждал Лизу в том, что все будет хорошо:

– Хорошо потому, что в Москве нет придворных театров, а есть просто театры и публика, а мой братец Николаша Сандунов профессорствует в Московском университете, сам трагедии и стихи пишет... Скажу ему – и он хоть завтра Шиллером станет, чтобы мне угодить. Не пропадем, Лиза, только люби меня.

– Господи, – отвечала жена, – да если б не любовь к тебе, Силушка, где бы мне сил набраться, чтобы от шлепогубого Безбородко избавиться? Любовью начали – ею и закончим...

Приехали. Узлы развязали. Мебель расставили. Гвоздики вбили. Устроились. Николай Сандунов и правда что не Шиллер, но Шиллера переводил, а для братца всякую ерунду пописывал. Но Сила Николаевич, давний любимец публики, даже в пустяковых драмах умел быть столь забавен, что недостатки текста с лихвой окупались его повадками, интонациями, жестами столь красноречивыми, что иногда и слов не требовалось – все уже ясно! Елизавета Семеновна не отставала от мужа, скоро сделавшись любима москвичами, которые о ней рассказывали:

– Тихоня! Бывало, выберет уголок, где потемнее, забьется туда, словно мышка, и сидит притаившись весь вечер, слова от нее не слыживать. Зато уж на сцене... о-о-о!

Елизавета Семеновна обладала дивным меццо-сопрано, но с оперной сцены легко переходила на подмостки драматические, подыгрывала мужу в комедиях, не страшилась исполнять даже трагические роли. Наконец, не все знали, что Сандунова, утаиваясь от славы, сама сочиняла песни. Новый век открывался для них правлением Александра I, внука Екатерины, а он всю московскую частную сцену повелел считать “императорской”.

– От чего уехали – к тому и приехали, – огорчился было Сандунов, но тут же смеялся: – Ладно! Пока до нас из Петербурга доберутся с указом, мы тут свое споем и спляшем...

Москва носила Лизу на руках после того, как услышала от нее новую песню (мы, читатель, тоже слышим ее по радио):

Чернобровый, черноглазый,
Молодец удалой,
Вложил мысли в мое сердце,
Зажег ретивое!

После нее эту песню запела вся Россия: “Мерзляков дал душу словам, Кашин – музыке, а Сандунова – голосу”. Но вот я раскрываю известный “Дневник чиновника” Степана Жихарева на осени 1806 года, встретив там роковую отметку: “Дедушка рассказывал, что у Сандуновых между собою начинает быть неладно под предлогом обоюдной неверности, но что настоящая причина ссоры заключается в том, что муж, выстроив на общий капитал *бани*, записал их на свое имя... Любопытно знать, чем все это кончится; а ведь они женились по страстной любви! Неужто же Карамзин сказал правду, что

Сердца любовников смыкает
Не цепь, а тонкий волосок...”

Житейски умная, проворная, как ребенок, по-женски обаятельная, Лизанька Сандунова не знала, как отбиться от сонма поклонников, а Сила Сандунов, сам окруженный поклонниками, ревновал ее со всей страстью “кавказского человека”. Чужая семья – потемки, и нам сейчас не дано рассудить, кто там был прав, а кто виноват, но разлад в супружестве начался, и кончился он тем, что, избитая мужем, Елизавета Семеновна сказала ему:

– Вот так и кончается великая любовь, о которой, дай Бог, еще не раз вспомнят потомки, а вспомнив, заплачут...

В Словаре русских писателей известного С. А. Венгерова сказано прямо: “Сандунова была с мужем несчастлива”, а наш известный театровед В. Всеволодский-Гернгросс писал, что “супруги не отличались верностью”. Возможно, что и так, но сносить побои от мужа Лиза не стала, и в 1809 году они разъехались... После очередного скандала, устроенного Силой Николаевичем, они оба были уволены из театра.

Сандунов был спокоен, а она... она – рыдала!

– Я ненавижу тебя, будь ты проклят, – говорила она мужу с той же страстью, с какой когда-то в старые времена клялась ему в вечной любви. – Оставайся при своих чертовых банях, а я должна – я должна! – остаться с русским театром...

Двенадцатый год, осиянный заревом московского пожара, разорвал те жалкие нитки былого, что принято величать “цепями Гименея”: Сандунов остался в Москве, она уехала в Петербург, и здесь, на императорской сцене, Елизавета Семеновна пережила вторую юность, по-прежнему чаруя людей своим голосом. Восстановить его звучание мы, читатель, не в силах, а потому приходится верить заклипаниям современников, видевших ее, слышавших ее: “Имя Сандуновой навсегда останется памятником в области искусства. Оно всегда будет знаменито в летописях русской сцены...” А каков диапазон? Читатель, подивись вместе со мною: в репертуаре Елизаветы Семеновны насчитывалось 232 партии...

Великая бессребреница, Елизавета Сандунова пела в 1812 году для солдат-инвалидов, она давала концерты в пользу солдатских вдов и сирот... Доныне слышать ее слова:

Нельзя солнцу быть холодным,
Светлому погаснуть,
Нельзя сердцу жить на свете —
И не жить любовью...

Александр I сказал камергеру Нарышкину:

– Этой старухе надо бы дать хорошую пенсию, а то она так и будет петь без конца... Хватит!

Елизавета Семеновна стала получать по 4000 рублей в год.

Но сцену оставила лишь 1823 году, когда ее “Силушки” уже не было в живых, и она тоже готовилась в Москву:

– Такая страсть, такая любовь... *была!* Наверное, он скучает без меня в могиле, поеду и лягу с ним рядом. Лягу, вот поговорим мы с ним, и я все ему прощу...

Она скончалась в Москве 21 ноября 1826 года.

За похоронными дрогами двигалась толпа нищих и бедных, которым она привыкла раздавать свою пенсию.

Сандуновский переулочек, ныне уничтоженный, хранил семейную тайну Сандуновских бань, поныне процветающих.

Загадка истории! Кому из них, мужу или жене, в лучшую пору их жизни пришла в голову такая мысль – вложить деньги в создание бань? Не будем гадать. Бани были оформлены комфортабельно, а чтобы с ними не возиться, супруги отдавали их в аренду купчихе Ломакиной. Эта серьезная дама, своей славы не имевшая, взяла от Сандуновых не только баню, но даже их фамилию, уже прославленную, почему и бани в Сандуновском переулке остались в истории Москвы Сандуновскими.

В самом конце XIX века эти бани закрылись ради капитального ремонта. Московские журналисты, падкие до всяких сенсаций, навестили Лазаревское кладбище, где покоились супруги Сандуновы, увидели, что могилы заброшены.

– Вот сволочи! – сказал кто-то из журналистов. – На ремонт бани денег нашли, а вот для того, чтобы следить за могилами великих мира сего, на это денег никогда не хватает...

Я не имел чести омывать свое грешное тело в сладких водах бань Сандуновских, но мне хочется, чтобы имена великих хранились не только в названии бань. Эта миниатюра была уже закончена, когда я узнал маленькую подробность. Оказывается, Лазарь Моисеевич Каганович в годы оные, для него счастливые, мудрейше указал переименовать три московских переулка – Сандуновский, Звонарский и Нижнекисельный.

– А как прикажите их называть? – спросили его.

Тут-то и развернулась буйная фантазия Кагановича:

– Первый Неглинный, Второй Неглинный, Третий Неглинный...

Так что вы, живущие в Первом Неглинном, можете требовать, чтобы вашему переулку вернули его историческое название.

День именин Петра и Павла

Данзас – зрение военных острое – первым заметил его, когда он завернул с Конюшенной на Мойку, еще издали снимая цилиндр. Полковник вернулся в номер, распустил крючки тугого воротника на вспотевшей шее.

– Спешит, – сообщил друзьям. – И тростью машет.

Павел Воинович Нащокин, выпитив брюшко и оттопырив сочную губу, присмотрелся к стрелкам своего “брегета”:

– Ай да Сашка! Небось опять пешком с Черной речки... Ну-ну, ходкий он! Шампазея-то, чай, подмерзла?

И побежал навстречу, заранее распахнув объятия. Пушкин вошел в номер. Расшвырял куда попало свои цилиндр, перчатки, трость. Сразу от порога Нащокин потянул с него узенький сюртучишко.

– Ну и жарница! А у нас ночью на даче гроза была... Вы тоже слышали? – спросил Пушкин.

Нащокин широким жестом обвел своих гостей:

– Этих поросят ты и сам знаешь, – показал он на князя Эристову и Данзаса. – А вот сей молодой пиит, должно быть, еще незнаком тебе... Пожалуй: поэт и артист Куликов!

Артист, заезжий из Москвы, почтительно склонился:

– Так-с... Только Павел Воинович напрасно меня поэтом величают. Высокого звания сего, увы, не достоин-с.

Нащокин был нетерпелив, и за спиною Пушкина разом дружно захлопали пробки. Перехватив бутылку из рук лакея, Павел Воинович, деловито и со вкусом, сам наполнил бокалы.

– “В известной Демута отели, – читал он, шепелявя, – берут с нас пятьдесят рублей. И то за мягкие постели. За кофе же, обед и чай...” Как дальше?

– “Особой платой отмечай”, – смущенно закончил за него Куликов. – Произведение пера моего. Но это я так... балуюсь.

Бокалы сдвинулись, расплескивая пену.

– Воинович! – попросил Пушкин. – Отвори окна, жарко.

– Изволь, душа моя, изволь...

Нащокин распахнул окна, и в номера гостиницы Демута ворвался со двора оглушительный гомон рабочей артели.

– Шумно ж, брат, – поморщился князь Эристов.

– Неужели мы мужиков не перекричим?..

И началось – посреди дружеского пиршества – негласное соревнование господ в гостинице и мастеровых во дворе Демута. Друзья рассыпали каламбуры и анекдоты, а снизу, из прожаренной солнцем котловины двора, била кверху фонтаном, взрывая их тонкие речи, крепкая разногласица мужиков.

– Это как понимать? – долетело в номер. – Кирпич от положения красу обретает. Ты его вот так ложи – не глядится. Фасона нет. А бочком оберни – он тебе и зафорсил...

– Закройте же окна, – рассердился Данзас. – Слова не дают сказать... мммержззавцы!

Пушкин поднялся из-за стола с бокалом в руке:

– А я их отлично понял... Кирпич, как и слово, пронизанное рифмой, тоже можно складывать в дивные поэмы.

Нащокин поднял бутылку – солнечно и радостно она отразила в прохладной глубине яркое сияние летнего дня.

– Сашка, – заорал он, – черт такой, пей! Будешь ты пить или нет сегодня?

– Погоди, цыган. – Пушкин облокотился на подоконник и свесился наружу, болтнув ногами...

Внутри двора броско краснел кирпич, сваленный грудю. А поверх ее восседала компания каменщиков – босых и радостных. Тут же стояло ведро с вином да ходила по рукам громадная миска с крошеной говядиной.

– Тоже гуляют, – блеснули из-за плеча зубы Пушкина.

Здоровенный каменщик с рыжими (под масть кирпича) волосами, что были перехвачены ремешком поперек черного от загара лба, горланил больше других.

– Ты меня тока не огорчай, – раздавалось во дворе, – и я тебя тоже всегда уважу...

Пушкин с ногами взобрался на подоконник:

– А ведь сегодня день Петра и Павла... Теперь я точно знаю, что там – именинники...

Вон, орет рыжий!

И, высунувшись в глубину двора, Пушкин окликнул рыжего:

– Петра! Здравствуй же...

Мужик заерзал глазами по демутовским окнам. Заметил Пушкина в окне, и лицо его расцвело в хмельной доброте.

– Ты меня, што ли, барин? – спросил он гулко.

Пушкин приподнял бокал:

– Тебя... с ангелом твоим!

Мужик с радости схватил ведро, запрокинув его над бородатой пастью. На смуглом животе его заголилась рубаха. Обнажился среди мускулов пупок. Пушкин тоже пригубил бокал, поглядывая с хитрецей на друзей в комнате.

– Твое здоровье, Петра, – сказал он.

Каменщик смахнул по губам рукавом рубахи:

– Во, мы каки, барин... А за поздравку – спасибо!

– Постой, – остановил его Пушкин, – а где же Павел?

Задрав головы, охотно загалдели все каменщики:

– Здеся! Отлучился Павел-то наш... недалече туточки. Сейчас, барин, вернется и Павел.

– А куда же он делся?

– Да вестимо, куда – в кабак! – загоготал Петр, тряся над собой пустое ведро. – Вишь, посуда-то вся обсохла...

И вдруг он пристально всмотрелся в резкие черты поэта.

– Барин, – окликнул он Пушкина снизу двора, а в голосе его проступила какая-то душевная тревога.

– Эй, – отозвался ему Пушкин с высоты.

– А почему ты меня знаешь-то?

Пушкин сделал друзьям знак рукою, чтобы ему не мешали, и сложил возле темных губ ладони:

– Петра, Петра! Я ведь и матушку твою знаю...

Мужик сбежал с груды кирпичей, встал под самую стенкою.

– Да ну? – спросил тихонько.

– Батюшка-то ведь твой помер, – сказал ему Пушкин, не то спрашивая, не то утверждая.

Каменщик истово перекрестился:

– Царствие небесное... помер. Правда...

Неожиданно мужики воспрянули с груды кирпичей:

– А вот и наш Павел идет!

Петр подмигнул Пушкину снизу двора:

– Сейчас мы вместях за помин отца мово выпьем!

Из подворотни Демута вбежал на двор молодой парень. У самой груди его плескалась большая бутылка с вином.

– Павел, – сказал ему сверху Пушкин, – неси скорее. Мы тебя тут заждались. Да и с ангелом тебя – прими, брат...

Павел в полном обалдении уставился на незнакомого господина в окне. Вскарabкался босыми пятками на кучу кирпичей, и, не сводя с Пушкина глаз, он зубами выдернул из бутылки пробку.

Было слышно, как он спросил каменщиков:

– Это кто ж такой будет? Барин? Али еще как?

Мужики, сбившись в кружок головами и часто кивая в сторону Пушкина, что-то растолковывали ему.

Снова пошла по рукам миска с говядиной. Опять поднялся во весь рост рыжий гигант Петр, и ярким солнцем вспыхнула его голова на фоне золотистых, как буханки хлеба, кирпичей.

– Эй, барин! Стал-быть, ты и наше Киково знаешь?

За спиной Пушкина раздался хохот друзей, и Нащокин потянул поэта прочь от окна – обратно за стол:

– Не позорься, Сашка! Врать ты хотя и горазд, но в Киково-то не бывал ведь, друг любезный, и не бывать тебе...

Но Пушкин снова крикнул в гулкий колодец двора:

– Киково-то? Еще бы не знать... у самой речки!

– Верно, у речки, – обрадовался Петр.

– А ваша изба, почитай, крайняя!

И даже заплясал внизу Петр, крайне счастливый, что встретил в столице земляка:

– Третья от околицы, барин... верно! Уж ты окажи милость, откедова ты все про меня знаешь-то?

– Чудак! – отвечал Пушкин. – Был я с твоим барином на охоте недавно, уток славно стреляли...

– Так, так, так, – закивал каменщик.

– Ну, и дождь пошел. Гроза! Вот и зашли мы с ним в избу к старушке твоей...

Даже с высоты было видно, как изменилось лицо Петра:

– И ты, барин, выходит, старуху-то мою видел?

– Видел, Петра. Разговаривал.

– Ну и, выходит, что... жива она?

Пушкин, опечалась, поставил бокал на подоконник:

– Жива. Да вот на тебя, Петра, она жаловалась.

– Жалилась? Господи, да за што ж так?

Пушкин сверху указал на громадную бутылку с вином:

– Сам видишь небось. Ты винище здесь пьешь, а у матки твоей крыша совсем прохудилась. Чтоб тебе не выпить разок, а денег послать на деревню с оказией? Ведь стара она у тебя стала, Петра... совсем стара!

Каменщик опустил плечи. Вышел из-под тени стены. Медленно побрел через весь двор – в подворотню. Его позвали – он отмахнулся...

Пушкин соскочил с подоконника, но был он уже какой-то не такой, каким пришел сегодня к Демуту.

Провел он ладонью по лицу, словно смахивая нечаянную тоску, и протянул Нащокину свой опустевший бокал:

– Плесни мне, цыган! Если у вас осталось...

А над Петербургом плавилась ужасная жара. Над манежами и плацами висла белая мучнистая пыль. Вдали пересыпалась копытная дробь кавалерии, без песен ехавшей на Марсово поле...

И был самый разгар дня – дня 29 июня 1833 года.

День обычный, каких много.

Поэту осталось жить всего четыре года...

Герой своего времени

Этот человек легендарен – и в жизни, и в смерти.

Декабрист – Бестужев, писатель – Марлинский.

Сосланный в морозы Якутска, он был переведен в пекло Кавказа: в ту пору можно было слышать такие наивные суждения:

– Бестужева-то декабриста оставили в Сибири на каторге, а писателя Марлинского послали ловить чеченскую пулю...

Кавказ – обетованная земля для ссыльных и неудачников, для всех, кто не выносил однообразия и пустоты столичной жизни. Унтер-офицерский чин и солдатский “Георгий” поверх шинели – это уже завтрашний прапорщик. Декабристы искали на Кавказе спасение от солдатской лямки. А лямка была тяжела! Недаром же, когда декабрист Сергей Кривцов получил наконец чин прапорщика, он, седой человек, пустился в пляс. Правда, к нему тут же подошел осторожный князь Валериан Голицын (тоже декабрист) и шепнул на ухо:

– Mon cher Кривцов, vous dérogez a votre dignite de pendu. (Милый Кривцов, вы роняете ваш сан висельника.)

Кавказ пленял Бестужева не только выслугой – здесь он мог писать, и это главное. И. С. Тургенев вспоминал, что Бестужев-Марлинский “гремел как никто – и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним”. Герои Марлинского предвосхитили появление лермонтовского Печорина; им подражали в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно – с бурей в душе и пламенем в крови... Женские сердца пожигались ими. Про них сложилось тогда прозвище: *фатальный*. Секрет успеха яркой и взрывчатой прозы Марлинского в том, что он, как никто, разгадал дух своей эпохи – это был дух романтиков мятежа и благородных рыцарей, тонких акварельных красавиц и мечтательных моряков-скитальцев.

И средь пустынь нагих, презревши бури стон,
Любви и истины святой закон...

По мнению современников, ни один из портретов не передавал подлинной внешности Бестужева-Марлинского. “Это был мужчина довольно высокого роста и плотного телосложения, брюнет с небольшими сверкающими карими глазами и самым приятным, добродушным выражением лица”. На большом пальце правой руки Бестужев носил массивное серебряное кольцо, какое носили и черкесы, – с его помощью взводились тугие курки пистолетов. Писатель Полевой прислал ссыльному поэту белую пуховую шляпу, которая по тем временам являлась верным признаком карбонария... Таков был облик!

В гарнизоне крепости Дербента с Бестужевым случилась беда.

Через двадцать пять лет Дербент посетил французский романист А. Дюма, сочинивший надгробную эпитафию той, которую ссыльный декабрист так сильно любил:

Она достигла двадцати лет.
Она любила и была прекрасна.
Вечером погибла она,
Как роза от дуновения бури.
О могильная земля, не тяготи ее!
Она так мало взяла у тебя в жизни.

Но прежде, читатель, нам следует представиться по всей форме коменданту Дербента – таковы уж крепостные порядки!

Комендантом был майор Апшеронского полка Федор Александрович Шнитников; он и жена его Таисия Максимовна славились на весь Кавказ хлебосольством и образованностью. Понятно, как тянуло Бестужева по вечерам в уютный дом коменданта, где царствовала молодая красивая женщина, где танцевали под музыку маленького органа, где до утра тянулись умные разговоры... А куда еще деть себя? Историк кавказских войн генерал Потто писал: “Тяжелая однообразная служба в гарнизоне с ружьем в руках и с ранцем за спиной, он целые часы проводит в утомительных строевых занятиях, назначается в караулы или держит секреты. Среди такой обстановки Бестужев, человек с высоким образованием, страдал физически и нравственно”. Шнитников, на правах коменданта, иногда вызывал к себе полковника Васильева, грубого солдафона, мучившего Бестужева придирками по службе, и говорил ему.

– Прошу вас помнить: солдат в батальоне у вас много, а писатель Марлинский – един на всю Россию.

– Марлинского у меня по спискам не значится! А солдат Бестужев есть солдат, и только.

– Верно, что солдат. Но ежели не цените в нем писателя, так имейте хотя бы уважение к бывшему офицеру лейб-гвардии...

При штурме Бейбурга декабрист дрался столь храбреечки, что “приговор” однополчан был единодушен: дать Бестужеву крест Георгиевский! Однако в далеком Петербурге император начертал: “Рано” – а тут и война закончилась, линейный батальон снова занял дербентские квартиры. Солдаты искренне жалели Бестужева.

– Не повезло тебе, Ляксандра! – говорили они, дымя трубками. – Вот ране, при генерале Ермолове, ины порядки были. Выйдет он из шатра своего. А в руке у него, быдто связка ключей от погреба, гремит целый пучок “Егорииев”. Да как гаркнет на весь Кавказ: “Вперед, орлы!” Ну, мы и попрем на штык. А после свары Ермолов тут же, без промедления, всем молодцам да ранетым на грудь по “Егорию” вешает... Да-а, брат, не повезло тебе, Ляксандра!

Бестужев не жил в казарме, а снимал две комнатенки в нижнем этаже небольшого домика; здесь он сбрасывал шинель солдата, надевал персидский халат и шелковую мурмолку на голову, садился к столу – писать! Русский читатель ждал от него новых повестей – о турнирах и любви, о чести и славе. А по ночам он слышал дикие крики и выстрелы в городе... Шнитников его предупреждал:

– Александр Александрович, будьте осторожны, голубчик! Вокруг бродят шайки Кази-Муллы, и в Дербенте сейчас неспокойно.

– Я свою жизнь, если что случится, – отвечал Бестужев, – отдам очень дорого. Сплю с пистолетом под подушкой!

Кази-Мулла (учитель и пестун Шамиля, тогда еще молодого разбойника) неожиданно спустился с гор и замкнул Дербент в осаде. Начались сражения, Бестужев ринулся в схватки с таким же пылом, с каким писал свои повести.

– Один “Георгий” меня миновал, – признавался он друзьям, – но теперь пусть лучше погибну, а крест добуду...

Шайки Кази-Муллы отбросили, и в гарнизон прислали два Георгиевских креста для самых отличившихся рядовых.

– Ляксандру Бестужеву... ему и дать! – галдели солдаты. – Он и пулей чеченца брал, он и на штык не робок.

“Приговор рядовых” отправили в Тифлис, и Бестужев не сомневался, что Паскевич утвердит его награждение.

В это время он любил и был горячо любим.

Ты пьешь любви коварный мед,
От чаши уст не отнимая...

Готовишь гибельный озноб —
И поздний плач, и ранний гроб.

Оленька Нестерцова, дочь солдата, навещала его по вечерам – красивая хохотунья, резвая, как котенок, она (именно она!) умела разгонять его мрачные мысли.

– Вот, Оленька! Добуду эполеты, уйду в отставку и вернусь в Питер, чтобы писать и писать.

– А меня с собой не возьмешь разве?

– Глупая! Мы уже не расстанемся...

Женитьба на солдатской дочери Бестужева не страшила, ибо отец его, дворянин старого рода, был женат на крестьянке. Майор Шнитников и Таисия Максимовна обнадеживали декабриста:

– Быть не может, чтобы в Тифлисе не утвердили “приговор” о награждении вашем. Вот уж поспразднуем!..

Однако в восемь часов вечера 23 февраля 1833 года какой-то злобный рок произнес свое мрачное слово: *нет*. Оленька Нестерцова, как обычно, пришла навестить Бестужева, но в комнатах его не оказалось, а денщик Сысоев раздувал на крыльце самовар.

– Аксен, – спросила его девушка, – не знаешь ли, где сейчас Александр Александрович?

– Да наверху... у штабс-капитана Жукова с разговорами. Вишь, самовар им готовлю, да не разгорается, язва окаянная!

– Скажи, что я пришла.

– Ага. Скажу...

Выписка из архивов Дербентской полиции: “Бестужев явился на зов... между им и Нестерцовой завязался разговор, принявший скоро оживленный характер. Собеседники много хохотали, Нестерцова в порыве веселости соскакивала с кровати, прыгала по комнате и потом бросалась опять на кровать. Она “весело резвилась”, – по ее собственному выражению, но *вдруг...*”

Раздался выстрел, комнату заволкло пороховым дымом.

– Ну, вот и все... прощай, дружок! – сказала она.

Свеча, выпав из руки Бестужева, погасла. Он выбежал в сени, чтобы разжечь вторую, а когда вернулся, пороховой угар в комнате уже разволокло на тонкие нити. Ольга лежала поперек кровати, платье ее намочало от крови, она безжизненно и медленно сползала вниз голову на пол, при этом продолжая еще шептать:

– Это я... одна лишь я виновата. Бедный ты...

– Нет! – закричал Бестужев, разрыдавшись над нею.

Он совсем забыл, что сегодня ночью, проснувшись от криков, взвел курок и сунул пистолет под подушку. Оружие лежало между стенкой и подушкой; Ольга нечаянно тронула его – и пуля вошла в нее! Со второго этажа спустился штабс-капитан Жуков:

– Самовар готов. А чего здесь стреляли?

– Сашка не виноват, – сказала Ольга, зажимая ладонью рану, и пальцы ее казались покрытыми ярко-вишневым лаком.

Жуков остолбенел от увиденного:

– Беги к Шнитникову, – попросил его Бестужев. – Расскажи ему все, что видел...

Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких страданиях, но до самого последнего мгновения (уже в бреду) благородная подруга декабриста повторяла только одно:

– Бестужев не виноват... резвилась я, глупая. И не знала, что пистолет... Сашка любил меня, а я любила моего Сашку...

Казалось бы, все ясно: роковая случайность. Шнитников, выслушав следователей, посчитал дело законченным. Но не так думал командир батальона Васильев.

– Он и на помазанников божиих руку поднимал, – говорил Васильев, намекая на участие Бестужева в восстании декабристов. – Так что ему стоит шлепнуть из пистолета какую-то безродную девку?

Началось второе – придирчивое – расследование:

– Зачем вы держали заряженный пистолет наготове?

– А как же иначе! – отвечал Бестужев. – На днях в соседнем доме изрубили целое семейство, в доме напротив зарезали женщин, под моими окнами не раз находили убитых... Я не боюсь погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, что я могу быть зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под подушкой!

Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невинности Бестужева, что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил нагоняй Васильеву, а дело велел “предать воле божией”. Но Георгиевского креста декабрист, конечно, не получил.

– Теперь и не надо! – сказал он Шнитникову, а перед Таисией Максимовной не раз плакал: – Себя мне уже давно не жаль, но я век буду мучиться, что погибла юная жизнь...

Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил о смерти, которая уберет его с земли как солдата и оставит жить на земле как писателя. Александр Александрович начал сооружать над морем памятник. Сохранилась фотография могилы Оленьки, сделанная в начале нашего столетия. Надгробие представляло собой массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на обелиске была изображена роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии (намек на выстрел!), а под розою одно лишь слово: “Судьба”. Трехгранную призму, на которой высечены слова эпитафии Дюма, свергла наземь чья-то злобная рука...

Через год он был произведен в чин прапорщика и пришел проститься с могилою Оленьки; из крепости уже трубил рожок...

О дева, дева,
Звучит труба!
Румянцем гнева
Горит судьба!
Уж сердце к бою
Замкнула сталь,
Передо мною —
Разлуки даль.
Но всюду-всюду,
Вблизи, вдали,
Не позабуду
Родной земли;
И вечно-вечно —
Клянусь, сулю! —
Моей сердечной
Не разлюблю...

Современник пишет, что почти все дербентцы провожали его “верст за 20 от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали, и вообще вся толпа старалась

всячески выразить свое расположение к любимцу своему Искандер-беку (как называли горцы Бестужева)».

1837 год застал его в Тифлисе – в этом году погиб на дуэли Александр Пушкин: полковник Мирза-Фатали Ахундов прочел декабристу свои стихи на смерть великого русского поэта. Бестужев перевел стихи Ахундова с азербайджанского на русский язык – они разошлись по всему Кавказу в списках.

Это был его венок на могилу убитого друга.

А весной на рейде Сухуми уже качались корабли Черноморской эскадры, шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные дни до отплытия.

Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер.

На палубе сорокачетырехпушечного фрегата “Анна” солдаты распевали сочиненную Бестужевым песню:

Ей вы, гой-еси, кавказцы-молодцы,
Удальцы да государевы стрельцы!
Посмотрите, Адлер-мыс недалеко,
Нам его забрать и славно, и легко...
Ай, жги-жги, говори, будет славно и легко!

Вот и мыс Адлер... День был теплым.
Легкая волна напомнила Бестужеву его повести...
Сердце кольнуло больно о былом – невозвратном:

Я за морем синим, за синей далью
Сердце свое схоронил.
Я с тоской о былом ледовитой печалью
Грудь от людей заградил...

Прямо из бурунов прибой десант шел в атаку, и белое прибойное *кружево* великолепно рифмовалось с именем самого *Бестужева*.

Здесь, на мысе Адлер, все и закончилось навеки!

Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым.

В трескотне выстрелов, размахивая пашкой, он ускакал в чащу чеченского леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную жизнь писателя, декабриста, воина...

Кавказская литература наполнена версиями о его гибели.

Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что “тело его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он взят в плен”. За точные сведения о судьбе Бестужева штаб Кавказского корпуса объявил награду! Явился за наградой чеченец с гор, который (в знак примирения с русскими) повесил пашку себе на грудь.

– Искандер-бека не ищите, – сказал он. – Конь занес его прямо в толпу черкесов, они взяли его, долго разговаривали о чем-то, а потом изрубили его своими пашками...

Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от Бестужева записку: “Я в плену. Меня зорко стерегут, я опутан какой-то сетью... Вере отцов не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое меня прославит. Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника Александра Бестужева”.

Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью.

– Передайте Бестужеву, – наказал якобы Паскевич, – чтобы сидел в горах, пока мы весь Кавказ не завоюем. Если же с гор спустится, то будет до смерти заключен в крепости...

Сухумские старожилы свято верили, что где-то высоко в аулах живет, словно горный орел, какой-то русский офицер, которого зовут Искандером; он высок, строен, умен и образован, пользуется среди горцев почетом, но они стерегут его денно и нощно, чтобы он не бежал в долину...

Писатель П. В. Быков со слов своего отца, лично знавшего Бестужева, писал: “Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хорошее приданое, и что он по секрету (от горцев) выкупает наших пленных, а они этого даже не подозревают...”

Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы всегда остро нуждались. Старый кавказский воин Г. И. Филипсон писал в своих мемуарах: “В 1838 году я узнал, что у убыхов есть в плену какой-то офицер, но когда его выкупили за 200 пудов соли, оказалось, что это был прапорщик Вышеславцев, взятый горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что они хотели его убить... Бестужев пропал без вести. Мир душе его! Он не дожил до серьезной критики своих сочинений, которые читались всегда с упоением”.

Бестужев-Марлинский, как и его соратник Рылеев, умел сочетать романтику литературы с романтикой революции. В мемуарах декабристов он представлен “запальщиком” активности, “горячей головой” – в буре восстания он вывел Московский полк на Сенатскую площадь. После поражения восставших Бестужев решил не скрываться от суда – сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдал шпагу. Благородный рыцарь, он не страшился расправы и в письме к Николаю I открыто признал, что хотел привлечь Измайловский полк, чтобы во главе его атаковать дворец...

Пропал без вести! За этими словами всегда есть надежда, и всегда в таких словах кроется непостижимая тайна. Когда я был на Кавказе в тех местах, мне все казалось, что сейчас с гор спустится стройный офицер в белом бешмете с газырями и, подав мне руку, печально спросит:

– Неужели моих повестей больше не читают? *Жаль...*

Автограф под облаками

Алексей Николаевич Оленин проживал в особняке на Гагаринской набережной; в широких окнах его квартиры сверкала Нева, по ней скользили лодки под парусами, открывалась панорама заречного Петербурга с его академиями и Петропавловской крепостью; собор же этой крепости устремлял в студёные небеса свой золоченый шпиль, венчанный под самыми облаками фигурой крылатого ангела, который осенял крестом “северную Пальмиру” великого Российского государства.

Была ветреная осень 1830 года, и недавняя буря надломила поднебесного ангела, он как бы склонился над пропастью, и снизу людям даже казалось, что еще порыв ветра – и ангел выронит свой крест, лишив город Божьего благословения. В один из таких дней, восстав ото сна и позевывая, Оленин глянул в окно и... обомлел!

– Быть того не может, – сказал он себе.

По острию крепостного шпица, воздетого над Петербургом подобно шпаге, лезла вверх какая-то *букашка*, — так показалось Оленину спросонья. Но тут же он понял, что таких “букашек” быть в природе не может – это стремился вверх человек, прилежавший к окружности шпица, которую он и огибал по спирали, поднимаясь все выше и выше – под самые облака, что летели почти на уровне того же ангела, склонявшего свой крест над столицей. Оленин крикнул комнатного лакея:

– Илья, ну-кась, тащи сюда телескоп с треногой, тот самый, чрез который я на звезды гляжу, когда не спится.

В оптике телескопа возникла фигура босого мужика, который каким-то образом висел над бездною, цепляясь за что-то, невидимое, и Оленину было совсем уж невдомек, что именно удерживало его на гладкой поверхности шлица... Ч т о?

– Мне худо, – сказал Алексей Николаевич, хватаясь за сердце. – Илья, стукотни-ка в спальню Лизаветы Марковны, пусть придет и глянет... Уж не снится ли мне все это?

Явилась заспанная жена, глянула в телескоп и отшатнулась.

– Сусе-Христе! – воскликнула она. – Свят-свят, с нами святые угодники... Нешто ж он духом Божьим возносится?..

Наступил декабрь, ангел на острие шпица уже выпрямился, удерживая крест над столицей как надо, когда Оленина навестил художник и археолог Феденька Солнцев (будущий академик). Оленина он застал каким-то не в меру озабоченным.

– Что гнетет ваше превосходительство? – спросил он.

– Ах, милый! – отвечал Оленин. – Угнетает меня постыдное равнодушие людское... Все ждал, когда же наши писатели почтут подвиг верхолаза в газетах либо в журналах. Нет, молчат, занятые всяким вздором, славы суетной поделить меж собой не в силах, а писать – так нет их... Придется мне, тайному советнику и президенту академическому, самому вострить перо, дабы писать о мужике, что презрел страх, возвеличась над всеми мирскими делами геройством подлинным. Начну! Не мешай мне теперь...

Столица содержалась в образцовом порядке. После каждого дождя в тех местах, где на улицах застаивались лужи, полиция вбивала колышки, отмечая, где надобно чинить мостовые, оттого-то все улицы Петербурга были ровные, без выбоин и вмятин. Конечно, при таком рачительном порядке один лишь вид падающего ангела вызвал недовольство императора. Нашлось немало подрядчиков, готовых отремонтировать ангела, и сам-то ремонт его стоил гроши, но зато страшно дорого оценивали подрядчики строительство лесов, чтобы по этим лесам могли подняться рабочие. Почти 60 сажень (122 метра) отпугивали многих.

Николай I спрашивал князя Волконского, министра двора:

– И сколько же просят подрядчики на возведение лесов?

– Тысяч десять, а то и более, ваше величество.

– Откуда взять нам такие деньги? – огорчился император...

Тут в канцелярии дворцового ведомства появился казенный, а не крепостной крестьянин-ярославец; назвался он Петром Телушкиным, кровельных дел мастером, онучи на нем были чистые, рубашка стирана, он сказал, что по крышам налазался, сам непьющий и холостой, невесты у него “нетути”.

– А коли обозлюсь, так враз тринадцать пудов вздымаю.

– Слыхивал, что ангел столичный в починке нуждаться стал, вот и желаю его поправить, чтобы он не вихлялся.

– Эге! Сколь же ты за возведение лесов просишь?

– А лесов и не надобно. Вы, люди конторские, шибко грамотные, сами и подсчитывайте, во сколько починка обойдется.

Было уже подсчитано, что ремонт самого ангела с крестом будет стоить казне 1,471 рубль, и, естественно, спросили:

– А ты, мастер, сколько заработать желаешь?

– На то воля ваша, – отвечал Телушкин. – Сколь дадите – и ладно! Я вить непьющий, потому многого от вас не прошу.

Условились. Телушкин собрался было уходить, но тут явился сам министр двора князь П. М. Волконский.

– Эй, эй! – придержал он кровельщика. – Ты нас за нос-то не вздумай водить. Как же ты, дурья башка, без лесов под самые облака заберешься?

Телушкин приосанился, отвечая с достоинством:

– А вот это уж моя забота... Я вить в ваши дела не лезу, и вы в мои не лезьте... В кровельных делах особое понимание нужно, чтобы высоты не пужаться, а коли спужался – каюк!

Прослышав об этом сговоре в самых высших инстанциях, подрядчики стали над Телушкиным всячески изгаляться, считая его “ошалевшим”, нашлись среди них и такие, которые требовали, чтобы упрятали его в дом для поврежденных в уме:

– Вот посидит там годик, другой – и умнее станет! Мы тоже не с печки свалились и понимаем, что человек, слава-те Господи, еще не муха, чтобы по стенкам ногами бегать...

Не было тогда альпинистов, не было и той техники, с какою ныне мастера спорта штурмуют вертикальные утесы. Петр Телушкин – всего-навсего кровельщик! – понимал, что рискует головой, и прежде, чем лезть, кумекал – что и как? Внутри, оказывается, были стропила из дерева, а в самой обшивке шпица открывались наружу два люка-окошка, через которые можно выбраться на поверхность шпица. Но сам-то шпиц имел форму иглы, которая, чем выше, тем более сужалась, и там, на смертельной высоте, уже не было изнутри стропил, не было и окошечек – вот и достигай вершины как хочешь и как умеешь.

– Надо думать, – внушал себе Телушкин...

Сам же шпиц венчался большим круглым “яблоком”, поверх которого и был укреплен ангел с крестом, и вот как преодолеть это “яблоко”, от самого низа его на вершину выбравшись, чтобы к ангелу дотянуться, – тоже задача непосильная. Да, порою и жаль, что человек не умеет ходить вниз головою.

– Думай, Петрушка, думай, – говорил себе Телушкин...

Все продумав заранее, он начал свое восхождение.

С утра пораньше Телушкин – внутри шпица – долго карабкался наверх по стропилам, и по мере того, как шпиц суживался, эти стропила становились столь тесны, что, протискиваясь между балок, Телушкин остался в одной рубашке, а сапоги он скинул еще заранее. Так, ужом протискиваясь между перекладин и связей внутри шпица, кровельщик добрался до первого окошка и, выглянув из него, увидел, что на площади перед собором крепости уже мельтешил народ, желая видеть смельчака, а ему все люди казались с высоты мал мала меньше...

Ну, что ж! Пора выбираться из этого окошка наружу.

Выбираться – к у д а? В пустоту? Прямо в пропасть?

Внизу разом ахнула толпа горожан, когда Телушкин вдруг оказался висящим на медной обшивке шпица, и этот единый вздох коснулся кровельщика – как всеобщий стон ужаса...

Не в этот ли момент и разглядел его Алексей Николаевич Оленин, принявший поначалу Телушкина за “букашку”?

Шпиц собора Петропавловской крепости только от земли кажется круглым, как веретено, – на самом же деле он составлен из 16 граней, собранных из медных полос, которые в стыках своих по вертикали спаяны воедино ребрами-фальцами, выступающими на два вершка от поверхности шпица. На уровне первого окошка фальцы отстояли один от другого на длину полного размаха рук взрослого человека. П о р а...

– Господи, благослови, – было, наверное, сказано.

Опоясанный веревкой, которая тянулась за ним из окошка, а конец ее был закреплен внутри шпица, Телушкин, широко раскинув руки, ухватился за эти выступы концами своих пальцев. Теперь он висел, а пяткам его ног опоры никакой не было, – повторяю, что кровельщик висел на силе своих пальцев. Но потом, оторвав правую руку (и в момент отрыва он висел на пальцах только левой руки), Телушкин уцепился за выступ фальца двумя кистями, толчок ногой от первого фальца – и тело получило наклон влево, а левая рука, доверившись силе правой, вцепилась в следующий фальц, и так-то вот, раз за разом, шестнадцать раз подряд повисая над бездной, уже кровотопа пальцами, Телушкин начал огибать шпиц по кругу, а за ним из окошка тянулась веревка.

Кровь из-под ногтей, а в глазах зеленые круги!

– Господи, не оставь меня, грешного...

Тут и не захочешь, да взмолишься. Телушкин не просто “обвивал” веревкою шпиц по кругу, он ведь, двигаясь слева направо, еще подтягивался на руках, поднимаясь снизу вверх, дабы обвить пластины шпица выше окошка, из которого вылез. Веревка уже не держала его – она лишь тянулась за ним, окружая шестнадцатигранник шпица, и все эти 16 граней, отмеченных кровью смельчака, Телушкин перебрал в своих пальцах, как мы, читатель, перебираем страницы читаемой книги.

Вот пишу я все это, а порою сам ужасаюсь при мысли – какой же силой и ловкостью надо было ему обладать, чтобы висеть, расставив руки и ноги, одними лишь пальцами удерживая себя без опоры для ног на вертикальных складках медных листов, что уводили его на высоту птичьего полета. Не знаю, читатель, а мне поневоле становится жутко...

До него, конечно, не долетали голоса людей, что толпились внизу, задрав головы в поднебесье, и толпа любопытных горожан росла, а разговоры в толпе... обычно, как и водится:

– Не, я бы не полез, – говорил разносчик с корзиной на голове. – Ни в жисть! Хоть ты озолоти меня.

– Верно говорит молодой. От хорошей жизни рази станешь туды залазить? Это все от грехов наших, православные.

– Да и-де ты, старче, грехи наши видывал?

– А эвон ангел-то! Скособочился от грехов наших.

– А по мне, – слышалось из толпы, – так я бы полез с великим удовольствием. Но допреж сего, чтобы ничего не помнить, я просил бы от общества, чтобы мне ведро поставили.

– Оно и верно! – соглашались иные. – Тут без выпивки дело не обошлось. Разве трезвый человек в эку высь заберется?

– Эх вы... неучи! – сказал некто в купеческой чуйке. – Вам бы тока глаза залить, геройства без водки не понимаете.

– А ты рази умнее всех и сам-то понимаешь ли?

– Вестимо! Кровельщику-то энтому царь-батюшка мильён посулил – вот ён и старается, чтобы всю остатнюю жисть жена его не пилила оттого, что денег в доме нету.

– Оно, пожалуй, и верно, – согласился плотник с топором за поясом. – За одну-то выпивку какой дурак полезет? Тут особый смысл нужен, чтобы и себя не забывать...

– Гляди, гляди! Он-то, кажись, возвращается.

Телушкин уже “опоясал” шпиль веревкою и чуть было не сорвался с высоты, когда протискивался обратно в окошко, а там, внутри шпиля, кровельщик на время даже потерял сознание, протиснувшись телом между стропил. Очнулся и понял – главное сделано, можно вернуться на землю. Толпа перед ним почтительно расступилась, а убогая старушка даже заплакала, Телушкина жалеючи:

– Родименький ты наш! Нешто тебе, босому-то да без рукавиц, не зябко тамотко? Ведь простынешь, миленький.

– Мне рукавиц не надобно, – отвечал Телушкин. – ‘ Меня, бабушка, мозоли греют – гляди, во какие!

На следующий день начатое продолжил, отдыха себе законного не давая, – взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Теперь вроде бы полегчало, ибо шпиль, опоясанный веревкою, уже имел опору; это веревочное кольцо, удерживающее кровельщика, Телушкин – по мере продвижения в высоту – стягивал все уже и уже, а сама высота его не пугала, ибо он сызмальства привык лазать по крышам, и глядеть на мир сверху вниз с детства было привычно. Наконец, Телушкину даже повезло:

– Судьба-то ишо улыбки строит, – смеялся он...

На середине шпиля он разглядел крючья, торчавшие из медной обшивки, которых ранее не приметил. Крючья торчали в ряд, один выше другого, и Телушкин решил, что стоит подумать:

– Завтрева я и до вас доберусь...

За ночь кровельщик свил из веревок длинные петли, и когда добрался до этих крючьев, то привязывал себя к ним, а сами петли служили ему “стременами”, в которые он продевал ступни ног, и сразу стало легче. Пожалуй, стало ему и страшнее, ибо кровельщик приближался к “яблоку” шпиля, а этот массивный шар (величиной в четыре аршина) уже нависал над ним, словно потолок, скрывая собою и ангела с крестом, снизу совсем невидимых... Телушкин был уже близок к достижению “яблока”, и тут он заметил, что конец шпиля качается, будто муравей, ползущий вверх по былинке.

– Не, – решил Телушкин, оглядывая сверкающий золотом шар, что самым роковым образом нависал над ним, грозя расстроить все его планы, – сей день погожу, лучше уж завтрева...

Приют и ночлег он сыскал себе в артели столичных кровельщиков, и они из лучших побуждений подносили ему стаканчик:

– Ты ж, Петька, ажно посинел... выпей; обогрейся душой.

– Ни-ни, – отвечал им Телушкин, – я отродясь винища не пробовал, а в таком деле, какое начал, мне и глядеть-то на вино опасно... Вы уж сами-то пейте, а я погляжу на вас...

Третий день стал для него самым страшным, и тут душа сама по себе в пятки ушла. На высоте, доступной только птицам, качаясь наверху шпиля, Телушкин висел под этим громадным “яблоком”, которым шпиль заканчивался, а надо было выбраться на верхушку “яблока”, чтобы чинить бедного ангела. Как? Как ему, висящему на веревке под низом “яблока”, перебросить конец веревки, чтобы зацепиться за ноги самого ангела? Это так же немыслимо, как если бы человек, забравшийся под стол, вдруг пожелал бы забросить на стол свою, допустим, шляпу! Телушкин нашел выход, и это был выход единственный, но самоубийственный.

– Помогай мне Бог, – сказал он, – я думаю.

Следовало свершить нечто такое, на что не всегда способны и самые ловкие акробаты под куполом цирка: *оторваться от шпиля*, чтобы обрести пространство, необходимое для

размаха руки с концом веревки. Сначала он привязал себя за ступни ног возле лодыжек, а потом, перехватив себя в поясе, другим концом, свершил невозможное – откачнулся от шпиль и... повис в лежащем положении над бездной, наконец-то разглядев над собой даже крыло ангела. Моток веревки был наготове, и этот моток он стал бросать и бросать вверх, ожидая того момента, когда конец веревки, обхватив ангела за ноги, вернется ему в руки...

Сильный порыв ветра, скомкав веревку, вдруг обвил ее возле подножия креста и тут же вернул ее конец в руки кровельщика. Теперь – пан или пропал! Уже измотанный до предела, едино лишь силою мускулов, Телушкин обязан был подтянуться по веревке, чтобы выбраться на верхушку “яблока”, и он, уже страдающий от бессилия, почти готовый сорваться в бездну, под ним распростертую, все-таки вырос вровень с небесным ангелом, которого тут же обнял по-братски, а сам... заплакал.

– Верить ли мне, Господи? Никак осилил?..

В этот момент видел он вдали большое море, видел и деревни окрестные, в куцах парков белели усадьбы. А под ним, где-то очень далеко, копился народ – крохотные точки людей – и от самой земли люди увидели Телушкина, стоящего в обнимку с ангелом: и тогда в поднебесье им было услышано всенародное “ура”, а, может, кровельщику только показалось, что он слышит именно то, чего и хотелось услышать...

...Только теперь Оленин оторвался от трубы телескопа.

– Илья, – сказал он лакею, – ты как хочешь, но хоть из-под земли достань мне этого Телушкина, а ты, Феденька, – сказал он потом Солнцеву, – ты сделаешь рисунок восхождения Телушкина от земли до ангела, чтобы всякий мог увидеть, как он возвышался и как достиг высот поднебесных. Такие случаи непременно следует хранить для потомства...

Три дня подряд длилось восхождение Телушкина к высотам его славы, а потом до самого декабря он трудился, ремонтируя обветшалые крылья ангела, выравнивая крест, чтобы не шатался. Теперь было легче, ибо на вершину “яблока” кровельщик поднимался по веревочной лесенке, спущенной с высоты до самого окошка.

Наконец, когда трудная и полная опасности работа была закончена, Оленин пожелал видеть смельчака-кровельщика у себя во дворце.

Алексей Николаевич встретил Телушкина ласково, не знал, куда посадить дорогого гостя, он, тайный советник, расцеловал его, обнимая.

– А теперь, сударь, рассказывай, а я слушать тебя стану. Вот и Федя Солнцев, мой приятель, он тоже из крестьян, ныне художник, рисовать станет – с твоих слов же, братец. Я ведь глаз с тебя не сводил, за тобой все эти дни наблюдаю, а теперь желаю брошюру писать о героизме твоём, дабы ведали потомки православных, что и допреж них люди русские чудеса вершили...

Николай I тоже изъявил желание видеть мастера, но для визита в Зимний дворец он готов не был, ибо с одежкой у Телушкина не все было в порядке. Артельщики принарядили своего собрата в суйку с чужого плеча, которая, славу Богу, заплатками не красовалась. Император тоже облобызал Телушкина.

– Хвалю! Но – как нам, братец, работу твою проверить?

– Так это легко, – с умом отвечал кровельщик. – Эвон, у вас министров-то сколько! Выберите, какого не очень вам жалко, и пошлите туда, куда я забрался, и пусть он вам доложит.

Николай I расхохотался и, высмотрев в сонме придворных министра финансов, уже скрюченного годами, гаркнул в его сторону:

– Это ты, граф Канкрин, не давал денег на строительство лесов, вот тебя и пошлю под облака... для ревизии. А ты, Телушкин, молодец, – сказал он потом кровельщику. – Под тем ангелом, коего починил ты, усыпальница дома Романовых, а посему и награжу тебя по-царски, останешься доволен...

Он указал Канкрину выдать кровельщику тысячу рублей, дал ему кафтан и золотую медаль для ношения поверх кафтана, потом поднес мастеру именную чашу:

– С этой чаркой, – сказал царь, – ты можешь заходить в любой кабак, а все кабатчики, глянув на этот вот штамп, обязаны наливать тебе чарку доверху, платы с тебя не требуя, и ты теперь пей за счет казны – сколько душа твоя пожелает...

Спасибо! Но лучше бы он этой чаркой не награждал, ибо вино дармовое слишком дорого обходится людям.

Оленин сдержал слово, описав подвиг Телушкина в журнале “Сын Отечества”, его статья вышла потом отдельной брошюрой, украшенная рисунками Федора Солнцева, – эта статья лежит сейчас на моем столе, подле солидной “Панорамы С.-Петербурга” Александра Башуцкого, который по свежим следам событий не забыл представить и Телушкина. Как бы то ни было, но об удивительной храбрости русского кровельщика скоро узнали в Европе, там тоже писали о нем с восхищением, – и так-то вот, совсем неожиданно, ярославский крестьянин обрел большую славу.

Как выглядел Петр Телушкин? Об этом гадать не стоит – его портрет сохранился. У нас все знают хрестоматийный фрагмент обширного полотна братьев Чернецовых – “Парад на Марсовом поле в 1831 году”, где представлена группа четырех поэтов: Пушкина, Жуковского, Крылова и Гнедича. Всю же картину Чернецовых у нас не публикуют, но именно на этом обширном полотне нашлось место и для помещения в толпе Петра Телушкина – как знаменитости тогдашней столицы. Отдельный же этюд к портрету его ныне хранится в запасниках Третьяковской галереи...

Согласитесь, не так-то легко ярославскому парню попасть в число избранных знаменитостей столицы. Да, Телушкин прославился, его завалили заказами на работы по исправлению высотных колоколен, он чинил купола старинных храмов, и “в тот же год получил от разных лиц работы на сумму около 300 000 рублей” – так писал о нем Солцев, которому можно верить.

Ох, чувствую, нелегко мне будет продолжать далее! На беду свою Петр Телушкин влюбился в крестьянскую девицу, казалось бы, ну, что тут худого? А худое-то и случилось.

Была она не барышней, а крепостною помещика, и этот барин, чтобы его собаки заели, уже прослышал о немалом богатстве кровельщика. Стал он вымогать откупные за девицу и просил деньги немалые. Телушкин-то согласен был платить, но помещик, язвы его душу, с каждым днем все более заламывал цену за свободу невесты, и ведь такой наглец, что даже стыдил Телушкина:

– Плохо ты, мастер, любишь мою Настасью, коли любил как надобно, так не пожалел бы и рубаху последнюю снять с себя. Вот дай тысяч полтора за девку – и... разве я что худого о ней скажу? Девка-то, гляди, будто павушка, лебедушкой плавает, а ты деньги свои отдать за нее не хочешь...

Теперь он за Настасью столько просил, что, отдай Телушкин откупные, сам бы по миру пошел побираться. Вот тогда о прилавок сельского трактира гневно застучала царская чаша:

– Эхма! Наливай, чтобы горя не ведать...

Как запил, так уж больше от этой чары, царем подаренной, не отрывался, только успевай наливать, и года не прошло после этого случая, как Петра Телушкина больше не стало; осенью 1883 года он умер от безумного пьянства...

...Подвиг жизни его был дважды повторен нашими альпинистами: в 1941 году, когда началась война и потребовалось надеть чехлы на сверкающий золотом шпиль Петропавловского собора, чтобы не служил для врагов ориентиром, и вторично в 1944 году, когда блокада Ленинграда закончилась и шпиль уже не нуждался в маскировочных чехлах, которые альпинисты и сняли. А на самом верху шпиля альпинисты нечаянно обнаружили “следы” Телушкина, который оставил там свою подпись, – значит, был наш кровельщик человеком грамотным.

Вологодский полтергейст

Странные и загадочные явления в нашем быту, которые сейчас принято почтительно именовать “полтергейстом”, наши пращуры относили за счет обычных проделок домового или проказов зловредной “нечистой силы”, с которой лучше не связываться. Но тема “полтергейста” сделалась ныне столь модной, что иногда я жалею – почему ранее не учитывал множество подобных фактов, коими насыщена наша старая литература, особенно мемуарная. Правда, наши предки даже не пытались объяснить этой чертовщины, а мы, завершающие двадцатое столетие, и хотели бы найти объяснение этим чудесам, но, увы, к тому еще не способны...

Начать же придется издалека – с Фрязиново.

– Ведь ты вологодская, родилась и выросла там, – допытывался я у жены, – что ты можешь мне рассказать о Фрязиново?

– А почему оно тебя так заинтересовало? – спросила Тося. – Что-нибудь там случилось?

И мне пришлось поведать жене очень давнюю историю, которую заодно уж сообщу и читателю. Речь пойдет о человеке, который сам по себе не столь уж важен для развития нашего сюжета. Но сказать о нем, кажется, все-таки надобно, дабы мы вдохнули того дурманящего аромата древности, что окружает этого странного и забытого нами человека... Звали его Фрязиным: итальянец, он приехал на Русь во времена царствования Ивана III; работая мастером по выделке монет, Фрязин был и архитектором, укрепляя крепостные стены русских городов. Наконец, он считался и дипломатом, посылаемый в Италию ради сватовства Ивана III к Софье Палеолог, она стала потом матерью Ивана Грозного. На родине Фрязин выдавал себя за важного боярина, каким никогда не был, за что Иван III посадил его в темницу, а потом сослал в Вологду, где Фрязин облюбовал для своей усадьбы место на окраине города, жители потому и прозвали просто Фрязиным. Много позже, когда европейские купцы завязали с Россией торговые отношения, они селились во Фрязинове, считая Вологду красивейшим из городов русских; в живописном Фрязинове образовалась иноземная колония бойких негоциантов, где одно поколение сменяло другое, и, смею думать, немало фрязинцев потом породнились с купцами вологодскими.

Фрязиново лежало как бы на отшибе Вологды, русские считали его глухою окраиной, редко навещая этот пустынный пригород, на который был наложен особый колорит несхожести с русской природой и русским пейзажем, украшенным золотыми луковичами православных храмов... Наконец, настали времена новые и бравурные:

Наполеон побежден, русская гвардия гарцевала в Париже, а вологодское купечество, надо сказать, никак не походило на тех заскорюзлых типов, что выведены в пьесах Островского, – это были люди европейски образованные, в суждениях смелые, взгляды они имели широкие, от всякой чертовщины весьма далекие...

Вот мы и вышли к тому рубежу, с которого можно начинать рассказ о вологодском полтергейсте. Приступим!

– Тпру-у, – сказал ямщик, натянув вожжи.

Лошади остановились близ реки, подле загородных садов и огородов, вдали привольно раскинулись луга да синел лес. Николай Петрович Смородинов, молодой и удачливый купец, торговец мучным товаром, угостил сигарой городского архитектора.

– Иван Палыч, а что вон там? Руины какие-то...

– Да шут их ведает, здесь, во Фрязинове, когда-то кипела бурная жизнь, говорят, сам Фрязин здесь вот и умер, а теперь... Сами видите, сколь много пустырей пропадает.

Смородинов расчетливо спросил – во сколько губернская управа оценивает одну сажень пустующей земли во Фрязинове.

- Дешево. Возьмут по четвертаку – не более.
- Вместе вон с теми руинами?
- А кому они нужны, эти развалины? Но... не советую.
- Отчего же так, Иван Палыч?

– Местные жители обходят их стороною, а внутрь не заглядывают, ибо говор такой в народе, будто сам Фрязин здесь жил, а перед смертью заколдовал их... Тут по ночам иногда жители видели какого-то человека в старинном нерусском одеянии. Кто-то по ночам громко плачет, явственно слышны мучительные стоны.

- Трогай! – велел Смородинов ямщику...

Подъехали ближе. Вышли из коляски, чтобы размять ноги. Огляделись. Под сенью многовековых лип, посаженных Бог знает в какие времена, укрывались развалины массивного здания, напоминавшего торжественный мавзолей. Впрочем, внутри его была пустота, из оконных проемов торчали железные решетки, словно в тюрьме. Массивные стены из камня кое-где были уже разобраны. Архитектор объяснил, что тут поработали вологодские печники:

– Им для печей хороший кирпич надобен, а этому веками сноса не предвидится... вот и посшибали верхушки со стен.

– А стены-то могучие, – постучал по ним тросточкой Николай Петрович. – Как в крепости. Из пушки не прошибешь.

– Да, – согласился приятель. – Наши предки тят-ляп не строили. Смотрите, как глубоко погружен весь фундамент в почву... А что там, внутри, под фундаментом, сего мы не знаем.

- Погреб, – хмыкнул купец. – Чего же еще?
- Если бы только погреб, – зябко поежился архитектор...

Покатили обратно в город, задумчивые, как это всегда и бывает с людьми после их встречи с загадочным прошлым. Смородинов сказал – уж не остатки ли это усадьбы самого Фрязина?

– Уверенности, что эти руины остались от зодчества самого Фрязина, у нас нету, но... возможно. Вполне возможно.

- Накладно ли станется оживить эту домину, а?
- Думаю, что недешево...

Скупив все руины с землей, на которой они стояли, Смородинов решил возродить из этих руин загородную усадьбу. Денег не жалел! Совсем недавно он женился на молоденькой Дарье Никитичне, взяв ее из семьи вологодских купцов; шадя жену, Николай Петрович до времени не волновал ее своими замыслами, известив Дашеньку о покупке, когда сделка уже завершилась и была нанята артель рабочих во главе с опытным подрядчиком.

– Коля, да не пужай ты меня! – ужаснулась молодуха. – Нешто тебе меня-то не жалко? Али не слыхивал, что люди старые сказывают? Бежать от фрязинских мест надось, а ты...

Смородинов утешал свою ненаглядную:

– Чего нам бояться? Сделаю тебе домик, как игрушку. Освятим каждый угол, отслужим молебен, как водится. И не одни же мы тамотко жить станем! С нами полно слуг, парней здоровущих, город под самым боком, а там полиция, эвон, и казармы солдатские недалече. Свиснут мои молодцы – так набегут люди отовсюду. Не волнуйся, милая, понапрасну...

Строительство живо спорилось, мужики-артельщики, видя щедрость хозяина, не ленились. Правда, работа предстояла немалая. Не было стропил, крыши, лестниц; ни полов, ни оконных рам – только успевай трудиться. Дом ставили на древнем фундаменте, стены прежние лишь подновили, но однажды подрядчик озадачил Смородинова вопросом:

– Слышь, хозяин! Все будет справно, тока вот одна заковыка. Что с подвалом-то? Надо бы ход в него сыскать. Негоже верх дома ставить, не ведая о том, что под домом утаилось.

- Так сыщи, братец. Твоя забота...

В каменный свод дубасили ломками, в ответ слышали могучий гул пустого пространства, но все поиски явного или тайного входа в подвал ни к чему не привели. Подрядчик сказал:

– Как хошь, хозяин, а свод надо ломать.

– Так ломай. Не жалко...

Вот когда намучились! Свод имел толщину почти в сажень, но это массивное перекрытие, отделяющее дом от его подземелья, изнутри было сплошь опутано железными связями – так, словно дерево пустило внутри камня свои корневища. Ломками все-таки вскрыли свод, и тогда из черной дырищи пахнуло тлетворным духом минувших столетий. Стали ругаться:

– Фу, и вонища же, Господи... не продохнуть.

Подрядчик навесил на конец вервья пудовую гирию, опустил ее в глубь разлома, и все услышали – правда, не сразу, – как гирия тупо ударилась в настил подземелья.

– Эва, пять аршин без вершка – приходи, кума, любоваться. Нынеча-то эдак не строят. Но допрежь всего надобно костерок разложить, чтобы живое тепло вытянуло из подвала дух мертвяный, дух нехороший. – Целые сутки поддерживали огонь, образуя искусственную тягу, чтобы вытянуть наружу смрад подземелья, а потом подрядчик сказал: – Ну, шустряки, кто у нас неженатый? Кому слез бабьих жалеть не придется?

Вызвался проникнуть в подземелье Ванюшка Гладков; взял с собою масляный фонарь, чтобы видеть во мраке...

Оставшиеся наверху затаили дыхание. Было тихо-тихо.

– Не орет, – заметил подрядчик, громко сморкаясь...

Но тут же из подземелья послышался сдавленный вопль:

– Спасите, православные... свят-свят, вытягивайте!

Вытянули, и Ванюшка Гладков сразу обмяк, почти в обморочном состоянии, его кололо будто в падучей.

– Водки... скорее! – гаркнул Смородинов.

...Старый журналист А. А. Дунин, описывая, как было дело, использовал протоколы Вологодского полицейского управления, которые вряд ли уцелели до наших времен, и мне, читатель, ничего больше не остается, кроме того, чтобы верить полицейскому писарю, который усердно фиксировал все, что случилось тогда в Вологде. А случилось нечто такое, во что верить и не хочется, но верить поневоле приходится.

Хлебнув водки, Ванюшка долго тряс головой, словно по выходе из реки желал он избавиться от воды, попавшей в уши. Наконец, кое-как пришел в себя – матюкнулся.

– Ну? – обступили его. – Чего видел-то?

– Небось клад нашел? Брильянты?

– Не дай-то Бог, – заговорил Ваня. – Такое ишо разочек увидишь, и жить сразу расхочется...

– Да не тьяни душу – сказывай, что там?

Оказывается, рабочий, углубившись во мрак подземелья, увидел множество скелетов: одни из них сидели, другие стояли во весь рост, прикованные к стене цепями, причем один из скелетов цепь обвивала не только за шею, но даже за его бедра.

Подрядчик вопросительно глянул на Смородинова:

– Что делать-то, хозяин? Ведь не жить же в дому, ежели под домом костей полно? Грех был бы... великий грех, хозяин. Мертвяки-то церковному погребению не преданы.

Николай Петрович обхватил голову руками, застыл надолго. С одной стороны, мертвецы не отпеты церковью, даже не погребены по обрядам церковным, но, позови сюда священника, и город сразу наполнится слухами, Дашенька ехать во Фрязиново откажется, а он уже свыкся с мечтою о загородной усадьбе, уже немало истратился на ремонт этого проклятущего дома... Решился:

– Вот что, ребята! Кладу каждому еще по червонцу, только молчите... ни гу-гу. Тишком, когда стемнеет, все скелеты вместе с цепями побросайте в речку – и дело с концом. Согласны?

– Нам-то што! – загалдели рабочие. – Мы люди простые, квасом умываемся, кирпичами крестимся, а червонцы на земле не валяются.

Один лишь подрядчик заупрямился:

– Да вить не дрова же, а мертвяки туточки. Ежели в городе узнают, так нашего брата затаскают... Откель мы знаем, что за люди тамо валяются? Может, когдась царь Иван Грозный в Вологде живал, он и умучал их? Рази не так?

Все так, но Смородинов боялся городских слухов.

– Ладно, – сказал он, – чего тут спорить, ежели скелеты не оживить? Так и быть, ставлю пять ведер вина на всю артель и кладу сто рублей на всех. Только помалкивайте, робяты...

По словам того же А. А. Дунина, строительство дома во Фряэинове затянулось, ибо тогдашние купцы в таких делах не торопились, ставя дома столь основательно, чтобы самим отвековать и чтобы внуки да правнуки жили, никаких ремонтов не ведая; потому-то целых два года дом возводили, а третий год посвящен просушке его и внутренней отделке убранства. За это время Смородинов обзавелся детишками, его Дашенька приматронилась, расплнела, как и положено купчихе, в обществе волгожан семья Смородиновых была принимаема в лучших домах, даже сам предводитель дворянства не забывал приглашать супругов Смородиновых на свои семейные вечера... Наконец, перебрались они во Фряэиново.

О том, что скелеты в цепях выброшены в реку, слухов в Вологде не возникло. Смородиновы жили в усадьбе спокойно, окруженные молодцами, кои обживали флигель, прозванный “молодецким”. На ночь спускали с цепей свору злоющих собак. Для пущей уверенности Николай Петрович протянул из своей спальни до “молодецкой” длинный шнур, чтобы в случае чего, дернув за этот шнур, разбудить челядь тревожным звонком...

Была зима, морозная. Снег гулко хрустел под ногами. Николай Петрович приехал под вечер во Фряэиново, сказав Дашеньке:

– А я, милая, сей день вернулся из города нарочито пораньше. А что, разве никто не навещал нас?

За окнами усадьбы уютно смеркалось. Пролаяла собака.

– А ты, Коленька, разве кого ожидаешь?

Смородинов рассказал, что днем в его мучной лабаз заходил какой-то странный пожилой господин, удививший приказчиков необычным нарядом: кафтан из бархата, украшенный старинным позументом, на боку – сабля, а за поясом – пара пистолей.

– Спрашивал именно меня, обещая навесить к вечеру.

– Кто бы это мог быть? – удивилась жена.

– Наверное, актеришко из театра губернского. Сама знаешь, какова эта публика. Нарочно вырядился под шиллеровского Валленштейна, станет на выпивку напрашиваться, либо, пуще того, будет просить денег на дорогу до Питера...

Вечер прошел спокойно. Еще раз проверили запоры, рано стали позевывать. Огромный дом погрузился во тьму, затих, и было слышно, как в гостиной часовой маятник звучно отбивал размахи времени. Жена быстро уснула, а Николаю Петровичу что-то не спалось. Мешала и луница, на диво яркая в эту ночь, свет которой призрачно колебал комнатные потемки. Вдруг внизу явственно скрипнула дверь, послышались уверенные шаги... Нет, воры так не ходят, воры крадутся. “Но почему не лаяли собаки?” – подумалось хозяину, и его рука потянулась к шнуру над кроватью. Послышалось металлическое бряцание сабли, звоны шпор. “Никак военный?” Дверь отворилась как бы сама по себе, и в этот миг Смородинов забыл о сигнальной веревке.

– Господи, помилуй, – пролепетал он...

Перед ним из мрака, ярко освещенный луною, предстал тот самый человек, что был сегодня в его лабазе. Шлык из красного бархата небрежно свисал с верха его соболиной шапки, кафтан серебрился, сапоги из желтого сафьяна даже не скрипнули, они излучали меркнувший свет от жемчугов, унизавших голенища. При свете луны броско вспыхнул алмаз в перстне этого человека. Изможденное лицо с обвислыми, как у запорожца, усами дрогнуло в жуткой улыбке.

– Я обещал и пришел, – было им сказано.

Последовал жест руки, то ли указующий, то ли угрожающий, потом быстро возникли слова, сказанные на древней латыни, и... все исчезло. С криком Николай Петрович забился в угол постели, разбудив жену, и с той ночи он заболел. Хворал долго, но врачи никак не могли разгадать причину его болезни, а Смородинов – даже сейчас! – не рассказал жене о скелетах, найденных в погребке, не посмел волновать Дашеньку рассказом о ночном привидении... Только однажды, беседуя с архитектором Вологды, он спросил – кто живал во Фрязинове? Архитектор, загибая пальцы, перебирал немцев, англичан, шведов, голландцев и прочих. Но Смородинов помнил красную шляпку, свисавшую с соболиной шапки, не забыл о кривой сабле типичного ляха.

– А поляков здесь разве не было? – спросил он.

– Много! После Смутного времени во Фрязинове селились и черкесы, и ляхи, что пришли на Москву в свите Лжедмитрия и Марины Мнишек, дело то давнее и темное, но с тех времен не угасли предания, что эти ссыльные дрались почасту, меж собою сводили прежние счеты – кто прав, кто виноват...

“Не отсюда ли, – думалось Смородинову, – и эти заточенные в цепях, которые больше никогда не узрели дневного света, так и сгнившие во фрязинском подземелье?..” Страх постепенно забываясь, духовенство отслужило в доме молебны, все углы окропили святой водой, хозяин успокоился и целый год старался не вспоминать о ночном привидении. Но год миновал, и встреча с ним состоялась внове – более ужасная, нежели предыдущая.

Было это так. Опять морозный вечер, сугробы, восходы луны – Николай Петрович в беговых санках, в которые впрягли его лучшего рысака Бесценного, с ямщиком на облучке катил однажды из города во Фрязиново, к жене и деточкам. На крутом повороте, где начинался обрыв в реку, а ямщик всегда сдерживал рысака, вдруг – словно из-под земли! – вырос тот самый “лях” и... гикнул! Да так гикнул, что Бесценный рванул сани с крутизны обрыва, следом за ним с воплями покатались и ямщик с хозяином. Глубокий снег спас обоих, но рысак, оставив людей и разбитые сани, волоча на себе обрывки упряжи, был найден потом в десяти верстах от Вологды: “Он дрожал и так одичал, что никого не подпускал к себе, кусался и бил людей копытами”, четыре мужика тащили его на конюшню арканом. Выходит, что этого “ляха” узнал Смородинов, который испугал его и рысака, но зато ямщик никого не видел и все несчастья приписывал лишь горячности жеребца. Падение с кручи обошлось Смородинову глубоким и долгим обмороком, он очнулся уже во Фрязинове и тут, заплакав, все-все рассказал жене без утайки.

– Теперь и сам вижу, что во Фрязинове лучше не жывать, как бы и деткам худа не вышло, собирайся, душечка, сейчас, без единого промедления, отъедем в Вологду, станем жить-поживать у твоего папеньки, а во фрязинском доме оставим прислугу.

Отъехали. Тесть, выслушав зятя, авторитетно сказал, что с бесами не совладать, дом надобно продавать, а чтобы лишних слухов не возникало, всем в Вологде говорить тако: мол, полы там просели да и стенки пора новыми обоями освежить – потому, мол, и съехали. Николай Петрович не переставал удивляться:

– Но почему я видел этот призрак, почему Бесценный испугался его появления, а вот мой кучер ничего не заметил?

– Ложись-ка почивать, Николаша, – посоветовал ему тесть, – утро вечера мудренее...

Верно! Рано утречком Смородинова разбудил квартальный пристав Седунов и велел скоренько одеваться:

– Вас, милостивый государь, сам полицмейстер Вологды просит к допросу... станем протокол составлять.

– Господи, да в чем же я провинился?

– Вот и выясним, – отвечал Седунов без улыбки...

Выяснилось нечто ужасное. Ровно в полночь, после того как Смородинов с семьей покинул Фрязиново, сторож тамошней церкви услышал крики о помощи, к нему бежали босиком по сугробам полураздетые люди – смородиновские прислужники. Рубахи на них были разорваны, прислужники из “молодецкой” Смородинова, сами ребята бравые, были страшно избиты.

– Да што с вами, сердешные? Какой человек обидел-то?

– Мы сами люди, – отвечали молодцы, испуганно озираясь. – Коли бы на нас людская сила напала, мы бы ей все морды расквасили, а тут сила-то была не людская, а нечистая.

Все они, бежавшие из фрязинского дома, с утра пораньше были привлечены к допросу, старший приказчик Демичев показал:

– Тока глаза зажмурил, чтобы сны смотреть, тута он ко мне и подошел. Хотел я было спросить – чего, мол, тебе надобно, а он меня, будто перышко, с постели-то в угол за печку как шваркнет. Я и покатился... Гляжу, мать честная, и все молодцы мои, словно поленья какие, по углам так и разлетаются. А он-то, энтот самый, одного за другим как хватит, как шмякнет... Ну, вестимо, мы дунули в бега. Спасибо сторожу – приютил босых.

– А он-то, этот самый, куда подевался?

– Наверное, там и остался... в нашей “молодецкой”.

– Кого из вас не хватает? – спросил Седунов. Не досчитались одной лишь пожилой стряпухи Домнушки, которая, не будь дурой, когда эта катавасия началась, прыснула на сеновал и там, зарывшись в сено, осталась в целости. Вот эта Домнушка и поведала в полиции то, что так тщательно скрывал от горожан и соседей Смородинов:

– Когда артельщики дом-то обстраивали, так из подпола немало костяков выгребли. Все их, от цепей не отделяя, ночью на лодке вывезли за пять верст от города и утопили. А слыхивала это я от артельщиков, которым по званию своему на кухне кашу варивала, вот они и сказывали, что косточки те не отпеты в храме божием, гляди, как бы не ожили.

– Ладно. А ты сама-то, – спросили Домнушку, – когда на сеновале укрывалась, слыхивала ли что в доме господском?

– Как не слыхать! Когда все из дому сбежали, он ишо долго дверями хлопал, по комнатам шастая, и все смеялся...

Смородинова допросили о тайном погребении скелетов.

– Да уж что скрывать! Грешен. Это я так велел...

Возникло “дело о глумлении нечистой силы”. Смородинов никак не мог объяснить, почему нападение на его молодцов произошло как раз после его отъезда из Фрязиново – невольно получалось так, будто он сам в сговоре с нечистой силой. Полиция замесила дело круто – к делу были привлечены и работяги-артельщики, где-то из глубин губернии отыскивали и подрядчика.

– Ну что, хозяин? – сказал он Смородинову. – Рази ж я не был тогда прав? Говорил же – нельзя костей в реку бросать, словно падаль. Теперь сам мучаешься и нас по судам таскают.

Смородинов даже поседел, почасту плакал. Дело о нем из полиции было передано на усмотрение духовной консистории. Вологодский владыка усмотрел в поступке Смородинова, указавшего утопить скелеты без отпевания, кощунство, совершенное, хотя и без злого умысла, но все же подлежащее церковному осуждению, почему на Николая Петровича была наложена строгая епитимья, после исполнения которой, ранее к религии равнодушный, он сделался очень набожным.

На приговор владыки он не обиделся и, отпостившись и отбив множество поклонов, возымел желание пожертвовать свой фрязинский дом вологодскому духовенству. В консистории подумали и отказались, говоря уклончиво:

- Нам он ни к чему. Вы лучше его продайте.
- Да кто же теперь в Вологде его купит?
- А нам он тоже не надобен. Бог с вами...

Погруженный в тяжкие раздумья, Николай Петрович вечерами из своих мучных лабазов возвращался в дом тестя, а там его поджидала разгневанная жена:

– Говорила же я тебе – не связывайся с этим Фрязиново! Сколько денег угробил, а хоть полушку разве кто даст за него теперича? Ладно уж я, а ты о детях-то наших подумал ли?..

Лакей доложил, что внизу ожидает гость. Перед супругами предстал молодой, красивый и веселый человек, который начал свою речь залиvistым смехом:

– Ха-ха-ха, хо-хо-хо... это же просто анекдот! Вы меня, конечно, сразу узнали. И пришел я сказать, что женюсь и согласен купить ваш дом во Фрязиново, чтобы провести медовый месяц с моей Жаннетой в приятной обстановке с привидениями. Вот и задаток.

- А... – начал было ответную речь Смородинов.
- Молчи, дурак, – шепнула ему жена. Задаток за фрязинский дом был ею и принят.

Покупателем оказался ссыльный врач Яблоков (за что он был сослан в Вологду – этого я не дознавался). Журналист А. А. Дунин писал о нем в таких выражениях: “Красавец, весельчак, чудака, каких мало, любитель поиграть в карты, доктор скоро сделался в обществе и, в частности, в богатых купеческих семьях своим человеком и в какой-нибудь месяц отбил у местных эскулапов всю их практику. Вологодские барыни были от него просто без ума, часто восклицая: “Милый доктор, душка, а не доктор!”

Смородинов велел открыть бутылку с вином.

– Садитесь, милейший, – предложил он покупателю. – Вы, надо полагать, человек очень смелый...

– Зато вы человек очень нервный, – перебил его доктор.

– Допускаю, что стал нервным, – согласился Смородинов. – Но многое мне до сей поры непонятно. Чем же объяснить, что мои здоровущие молодцы бежали сломя голову от привидения, познав на себе всю нечистую силу его сокрушительных ударов?

– Э-э, батенька! – отмахнулся врач Яблоков. – Я остаюсь неисправимым материалистом, презирая устаревшие бредни, уверенный, что существует массовый психоз, когда все людишки разом видят одно и то же, уже психически подготовленные к тому, что нечистая сила существует...

Смородинов ответил, что какой бы ни был психоз, массовый или единичный, но “фонари” под глазами его молодцев появились не потому, что они заражены всеобщим психозом.

– Они и знать-то не знали то, что узнал я еще ранее. Впрочем, что мы тут спорим? Задаток мною получен. Слышал, что женитесь на француженке, желаю вам, доктор, счастья...

Брачный пир четы Яблоковых совпал для нее и с новосельем, молодожены назвали много-много гостей. Громадный кортеж карет и колясок прямо от вологодской церкви покатил их во Фрязиново, был ясный и жаркий день, но вдруг все потемнело, откуда-то налетел вихрь, срывая с женщин шляпы, он безжалостно растрепал их туалеты, кони заупрямились, боясь ехать против ураганного ветра.

– Ерунда! – возвестил Яблоков. – Обычный каприз природы. Ямщики, чего уснули? Нахлестните лошадей – прямо, прямо...

Приехали, расселись, в ожидании зова к столу болтали о разном. Свадебный стол был заранее накрыт в соседней зале. Уже вечерело, пришло время выпить и закусить, как положено, о чем гости уже не раз намекали виновникам торжества.

– Ну, что ж, – сказал Яблоков, глянув на часы. – Дамы и господа, я такого же мнения, что пора...

Только он это сказал, как весь дом содрогнулся от грохота, исходившего из соседней залы, приготовленной для пиршества. Яблоков с гостями кинулся туда, и все увидели, что от праздничного убранства ничего не осталось. Кто-то (но – кто?) одним махом сорвал со стола скатерть вместе со всем убранством, и теперь на полу валялись жалкие черепки посуды, варварски перемешанные с закусками, а все это щедро поливалось потоками вина, хлещущего из опрокинутых бутылок.

Материалист Яблоков не выдал волнения:

– Странно, конечно, но и это допустимо в нашей российской жизни. Знаете, сколько у меня завистников? Кто-то из моих недоброжелателей решил испортить мне торжество. Господа, не будем отчаиваться. Я сразу пошлю кареты в Вологду за новой партией вин и закусок. Еще часок потерпите...

Яблоков удалился, чтобы распорядиться о посылке за товарами в город, но в коридоре его перехватил повар:

– Беда! – кричал он издали. – Беда... не виноват!

В его рассказ верилось с трудом. Сначала вдруг подпрыгнули ведра и выплеснули воду в топку печей, загасив пламя, а потом по воздуху стали летать сковороды и кастрюли. Повар захлопнул двери и бросился бежать. Яблоков дал ему пощечину:

– Дурень, не пугай гостей. Созывай всех из числа домашней прислуги, пойдем и отлупим шутника как следует...

В окружении прислуги Яблоков пинком ноги распахнул двери на кухню, но в то же мгновение все веники и метелки, все ведра и кухонные дрова, ожившие самым непонятным образом, ринулись в открытую дверь, исколачивая убежавших людей. В это же время, как по команде, разом погасли в доме все фонари и свечи – дом погрузился во тьму, и в потемках сама собой задвигалась мебель, со звоном распались зеркала, – началась всеобщая паника, гости кинулись вниз по лестнице, еще издали созывая своих кучеров, иные даже бросились в окна, а доктор Яблоков вынес свою молодую жену, упавшую в обморок.

– Дамы и господа, – говорил он, – я не виноват...

По велению губернатора, во Фрязиново сразу же выехала следственная комиссия во главе с полицмейстером, которая обнаружила в доме следы неистового погрома. Сообща члены комиссии пришли к выводу, что во всем случившемся “повинен некоторый магнетизм”, коему не могли сыскать объяснения, и дом во Фрязинове опустел.

Смородинов навестил в городе врача Яблокова.

– Зачем вы пришли? – хмуро и даже озлобленно спросил его тот. – Или вам желательно поиздеваться над моим несчастьем?

Николай Петрович выложил перед ним стопку ассигнаций:

– Желаю остаться честным человеком, а посему возвращаю вам задаток, – отвечал купец, присаживаясь для беседы. – Вам, милейший, казалось, что нет такого явления в этом мире, какое не могла бы растолковать наша всемогущая наука; увы, доктор, я ведь и сам когда-то думал именно так, но, как видите, в природе не все еще объяснимо, и нашим потомкам еще предстоит немало поломать головы над подобными казусами.

– Может, вы и правы, – согласился с ним доктор...

Тут на улице возник шум, куда-то бежали кричащие люди, затрубил сигнальный рожок, мимо со звоном промчались пожарные колесницы, – это начинался пожар в солдатских казармах, что располагались близ Фрязинова, на вологодских окраинах.

– Кажется, выход найден, – засмеялся Смородинов...

Случайный пожар в казармах вологодского гарнизона мог навлечь на обывателей тяжкую повинность “воинского поста”, отчего немало бы настрадались жители. Представьте, живете вы себе со всем семейством, вдруг в вашу квартиру вселяют двух-трех солдат: терпи их, корми их, пальцем не тронь, гляди, чтобы с комода что не стащили на выпивку. Вот от такого поста Смородинов и выручил вологжан, заодно он выручил и военное начальство, предложив для размещения бездомных солдат свой проклятуший дом-усадьбу во Фрязиново.

– Дом прекрасный, теплый, крыша не протекает, печи исправные, не дымят, кухня под боком, – сказал он генералу Иванюкову, – одно лишь неудобство – это его мрачная репутация.

– Знаю, извещен, – отвечал генерал. – Но русского солдата нечистой силой не запугаешь. Мы сами с усами, и любого беса изгоним за рубежи с позором, как изгнали даже Наполеона! А посему, Николай Петрович, душевно благодарим, думаю, в вашей усадьбе разместим целую роту капитана фон Ульриха.

Услышав это имя, Смородинов даже похлопал в ладони:

– Bravo, мой генерал... bravo-брависсимо!

Бравый капитан фон Ульрих был офицером еще “гатчинской” породы, а выучки аракеевской, способный всех бесов, домовых и дьяволов остричь под одну гребенку, чтобы потом, опозоренных, выстроить их строго по ранжиру, указав “не дышать!”. Чеканным строем, колыша ряды отточенных штыков, марширующая колонна вливалась в распахнутые настежь ворота смородиновской усадьбы, барабаны гремели, а солдаты распевали – упоенно:

Грянули, ударили,
па-анеслись на брань
и в секунду с четвертью
взяли Эривань.
Ать-два, эх-ма!
Эх-ма, ать-два!

Ульрих выступил перед ними с воинственным призывом.

– Эти трусливые штафирки, – сказал он, – распускают в городе зловредные слухи о каких-то там призраках, живущих вот в этом доме, но вы никого, братцы, не слушайте, а сразу – сажай на штык, лупи прикладом, чтобы всем чертям тошно стало.

– Урра-а! – браво отвечали ему солдаты...

Рота разместилась в господском доме, в “молодецком” флигеле была устроена кухня, где варили щи с мясом и кашу, в печах душисто и сытно выпекались солдатские хлеба. Вот уж радовались солдаты: после опостылевшей казармы оказались в покоях купеческих, за нуждой не надо во двор по ночам бегать, все было под боком, аж душа радовалась, а девки из соседнего села уж таки оказались пригожими, таки согласливые, – прямо чудо, а не девки.

По вечерам дом во Фрязиново гремел от боевых песен:

Солдатушки, бравы ребяташки,
Где же ваши жены?
Наши жены...
вот где наши жены!

Но, приученные бороться с врагами “внешними”, солдаты никак не были готовы вступить в борьбу с врагом “внутренним”. А он, этот внутренний, не дремал и начал свои чудеса им показывать. Поначалу-то солдаты даже хохотали, сотрясая от хохота самодельные нары, а потом им надоело, что миски с кружками по столам, будто лягушки, скачут, вода из ведер по

ночам спящих окачивала, а горящие дрова из печей выметало. Может, тем бы все и закончилось, чтобы потом девок пугать своими рассказами, но стряслась тут беда ужасная, беда неминуемая...

Однажды вечером все были встревожены.

– Братцы, да ведь от нас каша ушла!

Мигом похватали ружья, навинтили на них штыки и ринулись отстаивать кухню, где варилась гречневая каша со шкварками, столь необходимая для всех защитников отечества:

– Братцы, постоим за кашу, яти их в такую мать!...

Как мне живописнее отразить картину убегающей из котла каши? Солдаты, вломившись на кухню, узрели необычную картину: переползая через края котла, каша “чулком” сползала на пол и, вроде толстого удава, стремилась уползти в двери, чтобы оказаться – за порогом кухни – на лоне природы.

– Лови ее! Братцы, тащи лопату... не уйдет, подлая!

Но после этого случая возник “кашный бунт”, грозивший большими неприятностями начальству. Дабы избежать солдатских волнений, столь нежелательных для могущества непобедимой империи, всех солдат роты капитана фон Ульриха вернули в город и разместили на “постой” по частным квартирам. Наконец, губернатору надоела постоянная возня с этим домом во Фрязиново, и он указал разбить дом в куски – порохом и ломами, вплоть до его фундамента, а кирпичи раздать неимущим для нужд домашних.

– На месте же этого фрязиновского дома, – указал губернатор, – желаю видеть огороды обывательские... Пусть там растет картошка с капустой да лучок зеленый, отличный для закусывания, но чтобы я больше не слышал о привидениях... Хватит!

И – верно: с той поры как распустилась там красивая картофельная ботва, никаких привидений более не появлялось.

Я плохо ориентируюсь в топографии современной Вологды, но знаю, что бывшее Фрязиново давно вошло в черту городской застройки.

Я останусь душевно благодарен читателям, если они дополнят мой рассказ, но особо останусь благодарен тем из них, кто сообщит мне о судьбах потомства Николая Петровича и жены его Дарьи Никитичны Смородиновых, – заранее благодарный. Ваш автор.

Через тернии – к звездам

Ветер раскачивал старый фонарь, который надсадно скрипел, едва освещая осклизлые ступени, ведущие в подвальную таверну. Древний ганзейский Любек давно погасил огни, а здесь, в ночной гавани Травемюнде, еще торговали трактиры – для моряков и одиноких пассажиров. Их задерживал в Любеке крепкий норд-ост, не позволявший кораблям выбраться даже за волноломы. Была ненастная осень 1837 года...

В дешевой харчевне коротал время молодой человек, просивший хозяина поджарить для него яичницу. Казалось, ему нет дела до перебранки матросов, готовых схватиться за ножи, и он со вниманием листал парижский альманах “Сален” Генриха Гейне; легенда о летучем голландце, миф о корабле-скитальце поражали воображение... Один из матросов – уже пожилой, с медной серьюгой в ухе – оторвал его от чтения.

– А ветер не унимается, – сказал он. – И денег у меня не осталось. Может, ты угостишь меня, приятель?

Молодой человек достал тощенький кошелек:

– Я всего лишь бедный музыкант, но... Почему бы и не поделиться? Надеюсь, талера вам хватит?

Матрос поймал в кулак сверкнувшую монету.

– Вы добрый человек, сударь, – отвечал он. – Бог воздаст вам завтра свежим попутным ветром... А куда путь держите?

– Меня ждут в Риге, но из-за ветра опаздываю.

– Вы, наверное, тамошний житель, сударь?

– У меня нет своего дома. Я перебрался, спасаясь от долгов, из Магдебурга в Кенигсберг, где служил капельмейстером, а теперь от прусских кредиторов бегу в русскую Ригу.

Матрос швырнул монету на прилавок и сказал:

– Э! Хорошо бегать холостому, а попробовал бы драпануть от чиновников короля с женою и скарбом.

– Я... женат, – уныло отвечал музыкант. – Но моя жена не стала ждать, когда я расплачусь с долгами, и покинула меня, бедняка, ради богатого коммерсанта... Меня зовут Рихард, я – *Рихард Вагнер*...

Это имя еще не звучало мятежным набатом, бравурные триумфы Байрейтских торжеств еще не прозвучали на весь мир, но зато к утру спасительный ветер наполнил старые штопаные паруса, и этот ветер подхватил музыканта на его пути в Россию. Вагнер дочитывал легенду о корабле-призраке, который, подобно ему, проклятый богами и обществом, стремился к новым заветным берегам и никак не мог достичь их... Только тьма, только холодный ужас людского отчаяния, и нигде не вспыхнет даже слабой искры надежды...

Там, где теперь расположена библиотека Академии наук ЛССР, ранее размещался Рижский театр, основанный еще бароном Отто-Генрихом Фиттингофом, и уж поверьте: если это здание способно в наши дни выдерживать многие тонны книжной мудрости, то оно, конечно, не дало трещин от трубных гласов, которыми Вагнер излишне усиливал звучание своего оркестра... Генрих фон Дорн, сам опытный дирижер, кричал ему:

– Опять трубы! А где же нежные скрипки, поющие о любви? Зачем вы разрушили мелодию дерзким ударом в литавры?

– А что делать? – отвечал Вагнер. – Что делать, спрашиваю я вас, если мне было суждено родиться в том проклятом году, когда пушечные громы и молнии в битве при Лейпциге устранили одного великого тирана, дабы заменить его толпой мелких коронованных злодеев?... Да, милый Дорн, я согласен с вами, что под мою оркестровку можно строить баррикады на улицах!

– К чему вы стремитесь, несчастный?..

– Через тернии – к звездам...

Рига показалась Вагнеру гораздо приветливее опостылевшего Кенигсберга; он вспомнил, что после тяжелого опыта службы в немецких театрах “организация рижского театрального предприятия действовала на меня приятно-успокаивающе”. Вагнер поселился в Старом городе на Кузнечной, среди старинных амбаров и сонных домов с конюшнями, где путались, образуя лабиринты, Малярная, Сапожная и Мясницкая, тупики которых уводили фантазию далеко-далеко – в древность. Пост директора Рижского театра тогда занимал Карл фон Гольтей – неудачный актер, зато удачливый делец-драматург.

Он огорчился сам, заодно огорчил и Вагнера:

– Не повезло! Я выписал из Берлина примадонну с богатыми туалетами, но она, к несчастью, увлеклась одним потсдамским гусаром, и я теперь не знаю, Рихард, какой смазливой бабенке можно доверить серьезные арии?

Вагнер положил на пюпитр свою дирижерскую палочку, на конце которой была миниатюрная женская ручка, вырезанная из слоновой кости.

– Моя свояченица Амалия Планер успешно пела в Берлине, а сейчас бедствует в Дрездене без ангажемента. Уверен, эта благородная девушка способна заменить вашу влюбчивую примадонну, правда, Амалия не имеет роскошных туалетов.

– Читайте, что ангажемент за нею, – решил Дорн...

Амалия Планер предупредила Вагнера, что в Дрездене недавно появилась его Минна; брошенная и несчастная, она собиралась писать ему, чтобы вымолить прощение. Вскоре Вагнер получил покаянное письмо от жены: раскаиваясь в своем легкомыслии, Минна уповала теперь на возвращение к Рихарду, которого она, увы, ранее недооценивала. Но теперь она радуется за него, ставшего дирижером в Риге, и рассчитывает получить его приглашение. (“Никогда прежде, – писал Вагнер, – я не слышал из уст Минны подобных речей... Я ответил, что меж нами не будет произнесено ни единого слова о происшедшем, что всю вину я принимаю на себя”). Между тем в Риге у него завелся добрый приятель – молодой кавалерийский ротмистр Карл фон Мекк, поклонник симфонической музыки.

– Вы слишком уступчивы, маэстро, – сказал ротмистр. – Можно ли прощать женщине такие грехи?

– Милейший Карл, – отвечал ему Вагнер, – знакомы ли вам “Житейские воззрения кота Мурра”? Вчитайтесь в то место, где безумный капельмейстер Крейслер, обреченный на вечное страдание, взбунтовался против жалких условностей этого подлого мира... А я – тот же бунтарь Крейслер!

Наступил холодный октябрь, когда сестры Планер приехали в Ригу (“на мою новую родину”, записал Вагнер). Композитор ютился в тесной уютной квартирке, а суровая патина бедности уже наложила на его жилье свой незримый отпечаток. Минна расплакалась и ушла горевать в спальню.

Амалия Планер жестоко насмехалась над своей сестрой:

– Наверное, даже кошка с мартовского карнавала не возвращается такой ободранной и жалкой, какой вернулась твоя жена из объятий богатого кавалера. Неужели простишь и на этот раз?

– Я не желаю ей зла. Я уже простил.

– Простил – ладно, что ты ей скажешь?

Вагнер прошел в спальню, где сидела поникшая жена:

– Вот ключи от дома, вот мои последние деньги, а на кухне греется утюг, которым я собирался гладить выстиранные простыни. Поверь, я умею делать все, но я ненавижу то, что мешает мне и моей музыке.

Минна вытерла слезы и пересчитала деньги:

– Не так уж щедро расплачиваются с тобой, могли бы платить и побольше. А у меня в ушах звон от твоей музыки.

– Не касайся моей музыки, – отвечал Вагнер, – как я не касаюсь твоего прошлого...

Появился и Карл Гольтей с цветами для женщин.

– Вагнер, ах, до чего же мила ваша женушка!

– Но я чертовски ревнив, – злобно отвечал Вагнер.

У подъезда его ожидал в коляске фон Мекк:

– Маэстро, я приехал, чтобы довезти вас до театра.

– Спасибо, дружище, я не избалован вниманием.

Ротмистр засмотрелся на окна.

– Боже! Сюда смотрит удивительная красавица.

– К сожалению, – отвечал Вагнер, – это не жена смотрит на своего мужа, а бедная Амалия взирает на богатого фон Мекка!

По дороге в театр он признался ротмистру, что уже начал работу над новой оперой “Риенци”:

– Слишком часто моя музыка вызывала в публике изумление и даже издевательский смех. Но я закалился в борьбе, любое оскорбление отскакивает от меня, как чугунное ядро от неприступной фортеции. В музыке, как и в жизни, тоже существует подлость и крохоборство. Но я прокладываю гати через музыкальные болота, я хочу выстроить для народов музыкальные дворцы, хочу возвести прочные мосты в счастливые миры могучего людского духа! Только так, дружище: через тернии – к звездам...

Здесь уместно сказать: хотя музыкальная жизнь Риги складывалась самостоятельно, как бы особняком от русской, но все-таки она гармонично вписывалась в мелодию нашей общей музыкальной культуры; со времен барона Фиттингофа рижане приглашали оперные труппы из Италии и стран германских, но здесь, на подмостках Риги, пели солисты Вены и Петербурга, рижане уже знали не только Гайдна, Моцарта и Бетховена, но и музыку первых российских композиторов.

В портфеле Вагнера-дирижера лежали партитуры опер Моцарта, Беллини, Дж. Россини, Обера, Доницетти и Керубини, с оркестром оперной труппы он давал симфонические концерты. Свое знакомство с рижской публикой Вагнер начал с того, что развернул поупитр к оркестру, встав спиной к залу. Он дирижировал в той манере, какая принята сейчас во всем мире, но тогда... Тогда это казалось неслыханной дерзостью.

На все попреки Гольтея Вагнер отвечал:

– Мне нужен контакт с музыкантами, чтобы они видели не фалды моего фрака, а мои глаза, мое лицо, мой восторг, мое вдохновение.

Ему явно не хватало силы звучания. Гольтею он жаловался:

– В оркестре лишь четыре скрипки, два альты и один контрабас... Мне очень трудно выразить себя!

Потому-то Вагнер и любил выезжать с труппой в Митаву, бывшую столицу Курляндского герцогства, где имелась более просторная сцена и обширная оркестровая яма. Пожалуй, только два человека понимали его стремления, его размах – это был певец Иосиф Гоффман, это был второй дирижер Франц Лебман. Они знали от фон Мекка, что Вагнер создает оперу “Кола Риенци, или Последний трибун”; друзья предупреждали композитора, что его опера вряд ли будет поставлена.

– Гольтею удобнее угождать вкусам местных бюргеров, а ты, бедняга, вкатываешь свой камень на самую вершину Олимпа – он скатится обратно и раздавит тебя!

Гольтей соблазнял Вагнера к написанию водевиля.

– Я не имею склонности к легкой музыке, – отказался Вагнер, – у меня совсем иные задачи...

Гольтей начал сплетничать о Вагнере:

– Если Вагнер и гений, как уверяет меня в том ротмистр фон Мекк, то гений мне не нужен. Моя певучая лавочка способна процветать только от заурядных людей, и чем они глупее, тем выгоднее для процветания моего театра...

Мстительный, он сократил Вагнеру жалованье.

– Вы не умеете ладить с певцами! – кричал Гольтей. – Вы требуете от них дисциплины, как фельдфебель в казарме от солдата. Но если мадам Шредер вчера ужинала со мной, то она может позволить себе опоздать утром на репетицию... А ваше жалованье, помните, зависит от моих доходов!

Перебранка с Гольтеем ощутимо сказывалась на кошельке Минны, и она стала проситься на сцену:

– Если есть голос, почему бы не продать его?

Но Вагнер знал, что Минна – певица посредственная, а в театре она видит лишь средство для пополнения бюджета, и потому он сказал, что при нем она петь не будет.

– Риге вполне хватит и одной Амалии Планер.

– У меня внешность выгоднее, чем у Амалии, и с такой внешностью я бы заработала больше тебя – дирижера...

Вагнер снял новую квартиру в районе Петербургского форштадта, тогда еще только начинавшего застраиваться (дом, где жил Вагнер, стоял на углу нынешних улиц Ленина и Дзирнаву). Минна поддерживала видимость достатка и семейного благополучия. Вагнер любил бывать в семье Генриха Дорна, с которым вскоре перешел на дружеское “ты”. Это время вспоминалось потом как почти благополучное, когда к ужину “стоял русский салат, двинская лососина и свежая икра... Мы втроем чувствовали себя на дальнем севере очень недурно!” Вагнеру, саксонцу по рождению, рижские широты казались уже “дальним севером”. Но скоро между сестрами Планер произошел острый разлад, и они перестали разговаривать. В этой ненормальной и даже тягостной обстановке Вагнер продолжал творить музыку.

– Главное, – говорил он фон Мекку, – не расслаблять ни мышц, ни нервов, ни мозга. Надо, чтобы дело не топталось на месте, а постоянно двигалось к цели... Но, Боже, как иногда трудно Тристану пить любовный напиток из одной чаши с такой Изольдой, как моя Минна Планер!

Скоро состоялся неприятный разговор с Гольтеем.

– Я недоволен вами, Вагнер, – начал директор. – Вы привили театру характер храма с порядками монастыря, а богатая публика желает видеть в театре иное...

– Неужели вертеп? – усмехнулся Вагнер.

– Ну если не вертеп, то хотя бы место развлечения. Ваши намерения не принесут добра и лично вам. А мне нужен веселый и забавный водевиль... Водевиль и туалеты!

(“Серьезная опера, особенно же богатый музыкальный ансамбль, – писал Вагнер о Гольтее, – были ему прямо ненавистны”). Гольтей считал, что в оперу ходят не ради музыки.

– Приятнее слушать певичек, дабы оценить их телесную грацию и поймать момент, когда обнажится их ножка.

Вагнер же считал музыку основой оперы.

– Голоса певцов лишь накладываются поверх музыки, как в хорошем бутерброде намазывают масло на хлеб насущный.

Гольтей считал разговор оконченным:

– Но ваша музыка – это как раз не то масло, чтобы мазать его на хлеб к завтраку. Спросите у жены: она подтвердит!

Франц Лебман, ближайший друг, говорил Вагнеру:

– Слушай, Рихард! Если тебе завтра сломают шею, я займу твое место дирижера. Мне бы надо радоваться тому, как ты скандалишь, но я только огорчаюсь... Ты страдал уже достаточно – и куда побежишь после Риги?

– Не знаю. На этот раз с женою и скарбом.

– Вот-вот! Серьезный сюжет твоей оперы “Риенци” сразу приведет тебя к разрыву с дирекцией.

– Возможно.

– Так пожалей, Рихард, сам себя. Тем более что Генрих Дорн уже засел как раз за такую оперу, какая нужна Гольтею...

Дорн вскоре же выступил в германской прессе со статьями о Вагнере, высмеяв его пристрастие к трубам. Это не помешало Вагнеру честно продирижировать дорновскую оперу, написанную в угоду вкусам дирекции. Успех оперы Дорн мог приписать искусству Вагнера, который из пустейшей партитуры своего коварного друга выжал все лучшее, сознательно пришив в музыку Дорна ее слабые моменты...

Стояли сильные морозы, Вагнер простудился на репетициях и слег.

Но Гольтей заставил его покинуть постель:

– Я обещал, что моя труппа будет петь в Митаве...

Эта поездка в санях до Митавы, а потом дирижирование в плохо протопленном зале свалили Вагнера окончательно. Минна всполошилась, а Гольтей уже разболтал по всей Риге:

– Со смертного одра ему не дотянуться до попитра. Кажется, он отмахал свое этой дурацкой палочкой...

Спасибо рижскому врачу Прутцеру – он поставил Вагнера на ноги, посулив ему долгую жизнь. Но во время болезни Гольтей улизнул из Риги в Берлин, надеясь сделать карьеру при королевском дворе. В один из дней, когда Вагнер вернулся домой из театра, Минна испуганно шепнула ему:

– У нас полиция, тебя ждут...

Это была не полиция, а лишь чиновник рижского губернаторства. Русский человек, он свободно владел немецким, а к Вагнеру испытывал даже симпатию.

– У меня не совсем-то приятное поручение, которое я обязан исполнить как должностное лицо... Дело в том, что критические статьи господина Дорна, помещенные в немецких журналах, открыли кредиторам ваше местопребывание. Теперь управление рижского губернаторства получило судебные иски к исполнению от властей городов Магдебурга и Кенигсберга... Господин Вагнер, способны ли вы расплатиться с долгами?

– Нет, – честно отвечал композитор.

Чиновник явно хотел помочь Вагнеру:

– Поймите меня правильно, я не преследую вас, я лишь желал бы облегчить положение... Но предупреждаю: если вы решитесь бежать из Риги, как ранее бежали из Магдебурга и Кенигсберга, то стоит вам пересечь границу, как вы сразу окажетесь за решеткой королевской тюрьмы в Пруссии.

– А если я останусь в Риге? – спросил Вагнер.

– Тогда я вынужден потребовать от вас, чтобы, согласно судебным искам, вы расплатились с немецкими кредиторами.

Вагнер, чуть не плача, показал ему свою партитуру:

– Видите? Это моя опера, которая сделает меня Крезом, и тогда я разом смогу выпутаться из долгов...

– Охотно верю, господин Вагнер, что с вашим талантом вы еще станете знаменитым, но... поймите же и меня! Я ведь только чиновник, требующий исполнения буквы закона.

Вагнер запихал в портфель нотные листы “Риенци”.

– Так что же мне делать? – потерянно спросил он.

Чиновник оглядел скудную обстановку квартиры:

– Подумаем, что нам делать... Ведение исков поручено местным адвокатам, связанным дружбой с Гольтеем и Дорном, а эти господа, как я слышал, не слишком-то вас жалуют.

– Да! – выкрикнул Вагнер. – Гольтей, сокращая мне жалованье, хотел выжить меня из Риги... Теперь я это понял!

После ухода чиновника появилась разгневанная Минна:

– Я долго скрывала от тебя, но теперь скажу... Пока ты пропадал в театре, меня усиленно соблазнял Гольтей. Тебе казалось, что он сокращает жалованье из творческих побуждений. А на самом деле наш кошелек становился все тоньше и тоньше по мере того, как росла моя неуступчивость в домогательствах этого престарелого мерзавца.

Вагнер окаменел. Минна продолжала:

– Твои доходы были бы в два или даже в три раза больше, уступи я Гольтею. Но я решила остаться честной перед тобой, и тогда этот подлец стал навязывать мне в любовники богатого рижского негодяя Бранденбурга... Теперь ты сам видишь, – заключила Минна, – каково живется, если следовать твоим идеальным представлениям о жизни!

И когда в доме Вагнеров поселилось тяжкое уныние, а нужда снова хватала за горло, появилась сияющая Амалия Планер:

– Я счастлива! Только что ротмистр фон Мекк сделал мне предложение, и я решила навсегда остаться в России.

Амалия фон Мекк прожила долгую жизнь, ее муж дослужился до чина генерала русской армии. Оба они погребены в Санкт-Петербурге – на Волковом лютеранском кладбище.

Вместо Гольтея директором театра стал Иосиф Гоффман.

– Рихард, у меня камень за пазухой, который я, как новый директор, должен запустить в твою голову...

– Что еще стряслось? – обомлел Вагнер.

Оказывается, Гольтей, покидая Ригу, уволил Вагнера, а на место первого дирижера посадил Генриха фон Дорна.

– Это уже подлость... Даже не Гольтея, а Дорна! – возмутился Вагнер. – Ведь он мой друг, и он знает, что с концертов симфонической музыки я мог бы постепенно расплачиваться с кредиторами. А теперь я лишен даже этой возможности.

Иосиф Гоффман остался благородным человеком:

– Что я могу сделать для тебя, Вагнер? Давай хоть сейчас я подпишу с тобой контракт на будущий сезон.

– А как я проживу год настоящий?..

Вагнер решил повидаться с Генрихом Дорном; он умолял своего друга отказаться от контракта, говоря ему:

– Так поступил бы любой порядочный человек.

– Порядочный... Но я вполне свободен от укоров совести, – отвечал Дорн. – Твоя опера “Риенци” еще валяется в портфеле, а моя уже имела несомненный успех. Я больше тебя заслужил место дирижера, и будь спокоен, Рихард: уж я-то не повернусь к публике задницей, как это делаешь ты...

Минну композитор застал в полном отчаянии.

– Будь оно все трижды проклято! – говорила жена. – Лучше бы я уступила Гольтею, и тогда бы ты остался дирижером в Риге, а теперь... Что делать теперь? Ты знаешь?

– Не знаю, – отвечал подавленный Вагнер. – Но я верю, что со временем, когда люди станут перелистывать энциклопедии, они не найдут там имени Гольтея или Дорна. Там будет мое имя! Потомки, я верю, будут чтить меня именно за то, что я никогда не изменял своим принципам...

Жизнь в Риге становилась невыносима. Семейные скандалы и житейские дразги, сплетни о прошлом Минны – все это выводило Вагнера из равновесия.

Пришел верный Франц Лебман и спросил Вагнера:

– Рихард, есть ли у тебя хоть искра надежды?

– Да! Я еще из Кенигсберга отослал в Париж партитуру своей оперы “Запреты любви” на имя знаменитого Скриба.

– Не верьте ему, – вмешалась Минна. – Мне уже опостылела жизнь в воздушных замках, которые строит Рихард. И что Скрибу до Вагнера, если в Париже гремит Мейербер?

– Я писал и Мейерберу, – сознался Вагнер.

– А у него только и дела, что хлопотать о каком-то жалком капельмейстере из Риги...

Лебман поставил все с головы на ноги:

– Рихард, что ответил тебе Скриб?

– Ничего не ответил.

– А что ответил тебе Мейербер?

– Тоже ничего.

– Тогда не злись на Минну: она звезд с неба не хватает.

– Она-то, может быть, и не хватает. Но я, Франц, остаюсь верен своему правилу: через тернии – к звездам...

Среди рижан, истинных ценителей искусства, нашлось немало почитателей Вагнера, и они, возмущенные несправедливостью, убеждали композитора не оставлять Ригу, обещая вознаградить его за потерю жалованья в театре частными уроками музыки, устройством любительских концертов. Вагнер был растроган сочувствием посторонних людей, но его манили уже иные берега. Он все более убеждал себя, что в музыкальном Вавилоне – Париже скорее найдется гигантская сцена для воплощения его грандиозных оперных замыслов...

Кстати (или некстати!) в Ригу приехал кенигсбергский приятель Авраам Меллер, склонный ко всяким авантюрам.

– Париж – это не Рига! – убежденно заверял он Вагнера. – Стоит вам только появиться в Париже, и все оркестры заиграют ваши мелодии, так что этот Мейербер почернеет от зависти, и тогда... Тогда и никакие долги не страшны!

Вагнер сказал: стоит ему выехать за пределы Российской империи, как пруссаки сразу же поволокут его в тюрьму.

– Вы наивное дитя, – возразил Меллер. – Какой же должник пересекает границу в казенном дилижансе? Конечно, на ваши паспорта сразу будет наложен арест. Порядочные же люди переходят границы по тропинкам контрабандистов...

Так и случилось! Летом 1839 года Вагнер с женою *нелегально* перешли границу с Пруссией и, тайком сев в Пиллау на купеческое судно, поплыли морем во Францию... Через много лет, когда имя Вагнера гремело повсюду, к нему в Мюнхене притащился неряшливый, жалкий старик.

– Я ваш поклонник и ваш бывший покровитель – Генрих фон Дорн... Неужели вы не помните меня, великий маэстро?

– Нет, не помню, – расплатился с ним Вагнер.

...Советский музыковед Евгений Брауде много писал о “вагнеризме”. Но мое внимание заострилось на одной его примечательной фразе: “Сценические принципы, которыми он (Вагнер) сорок лет спустя руководствовался во время Байрейтских театральных празднеств, были применены им впервые в Риге...”

Если везде было плохо, то в Париже было еще хуже. Мейербер отделался от Вагнера рекомендательными письмами, которые не имели никакой цены в театрах Парижа, а Скриб много обещал, но ничего не сделал, чтобы помочь неизвестному композитору.

– Ну, хорошо, – сказали Вагнеру в театрах, чтобы раз и навсегда от него отвязаться, – мы, так и быть, принимаем от вас лишь текст оперного либретто, но мы сразу же отвергаем всю вашу музыку – как ненужную и бестолковую...

Вагнер закончил оперу “Риенци” и уже приступил к созданию “Летучего голландца”. Мейербер советовал ему:

– Если вы хотите добиться в Париже хоть какого-либо успеха, ищите себе авторитетного соавтора...

Нечем было платить за квартиру. Вагнер жил впроголодь, занимаясь любой поденщиной, лишь бы не протянуть ноги. На лето он с Минной выезжал за город, чтобы собирать грибы и кормиться грибами. Рига с ее лососиной и миногами казалась теперь раем. После трех лет невыносимой нужды и унижений Вагнер покинул Париж ради Дрездена, где поставили его оперу “Риенци”, после чего Вагнер стал в Саксонии придворным капельмейстером, но при этом король подчинил композитора генерал-интенданту Люттихау, который даже и не скрывал от Вагнера презрения к нему...

Вагнер пытался анализировать свои неудачи:

– Очевидно, моя музыка таит в себе угрозу революции. Она, как и любая революция, или навсегда покоряет, или сразу же отталкивает. Но можно ли доверять вкусам обывательской публики, уже развращенной “кунштюками” мейерберовщины, игрою колоратурных хитростей, за которыми не стоит ничего, кроме усилия голосовых связок... Значит, мое время еще не пришло!

Но в Германию пришла революция, а дружба с Михаилом Бакуниным укрепила Вагнера в мысли, что грядет “мировой пожар”, который осветит новые горизонты, который откроет ему, композитору, новые берега... Потряса лвиной гривой, Бакунин горячо убеждал композитора:

– Маэстро! Если государство отвергает талант, если власть делает художника зависимым от капризов бюрократии, а любое дыхание артиста регулируют инструкциями и трафаретами, значит, такое государство должно быть разрушено...

Дрезден восстал, и на баррикады – с ружьем в руках! – поднялся композитор Рихард Вагнер, отстаивая свое право быть таким, каков он есть. Он завоевывал признание своего таланта оружием. А когда революция в Дрездене была разгромлена, Вагнер снова... бежал! Раньше он бегал как неисправный должник, преследуемый кредиторами, а теперь спасался как революционер, преследуемый полицией сразу нескольких государств. Позднее, когда Вагнера спрашивали, как же он, профессиональный музыкант, сумел скрыться, а Михаил Бакунин, профессиональный революционер, попался в руки полиции, Вагнер вполне рассудительно отвечал любопытным:

– Наверное, Мишелю Бакунину не хватало опыта побегов от кредиторов, каким в избытке обладал я...

Снова началась полоса скитаний, и не было в Европе театра, который согласился бы иметь дело с композитором-революционером. Но от тех героических времен осталась нам железная логика Вагнера:

“В ночи и в нужде... через тернии – к звездам!”

А когда же пришла к нему слава?

– *Не помню*, — отвечал Вагнер...

Наш историк музыки А. П. Коптяев писал, что слава Вагнера сравнима лишь со сказкой, “когда на открытие Байрейтского театра съехались императоры, короли и герцоги, литературные и артистические знаменитости века. Смерть в 1883 году в Венеции кажется эпилогом какого-то чудного сна, роскошной легенды, чары которой не позволяют нам верить, что все это действительно было в исторической перспективе”.

Полет и капризы гения

Москва 1836 года... Жаркое летнее лето.

Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми руками, такими плавными, и на каждой ладони – розовая ямочка.

– Ваня, – певуче позвала она мужа, – смотри-ка, гость у нас севодни акой приятной.

Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости: сам великий маэстро навестил жилище скромного московского живописца.

– Карл Палыч! – воскликнул он. – Дорогой вы наш...

Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, выпиравшим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, как у избалованной женщины. Но в пожатии они сильные, эти руки.

– Не ждал, Ванюшка? А я запросто... Не разбудил?

– Да нет, что вы! Мы рано встаем...

Брюллов снял шляпу, волосы золотым венцом распались над его массивною, но прекрасною головой. Он поцеловал руку хозяйке, и юная Елизавета Ивановна, кутаясь в старенький платок, невольно смутилась:

– Карл Палыч, что вы... Я по утрам такая некрасивая бываю, сама себе не нравлюсь.

– Синьора, – ответил Брюллов, – все мы, как правило, всегда некрасивы по утрам. Но вы... Вы даже не знаете, как вы божественны сегодня. Ванюшка, почему ты не напишешь портрета жены?

И этим он окончательно смутил женщину... Дурнов забежал перед создателем “Последнего дня Помпеи”, услужливо отворял двери.

– Ваня, – сказала ему жена, – пойду приберу себя малость.

– Нет, нет! – властно удержал ее Брюллов. – Этот платок, поверьте, вам к лицу. Он украшает вашу прелесть.

– Еще бабушкин.

– Это ничего не значит...

Брюллов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин.

– Ну что, Ванюшка, стоишь? Давай хвастай...

Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы:

– Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде...

Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой:

– Дрянь! Мусор! Выбрось!

Солнечный луч замер на лице юной хозяйки.

Брюллов засопел, будто его обидели.

– Карл Палыч, – снова заробела женщина, – уж вы так на меня севодни смотрите. Право, и неудобно даже... Ведь неприбрана я!

Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул:

– Ванька! Палитру волоки. Ставь холст.

Дурнов одеревенело застыл – в растерянности:

– Зачем?

– Тебя не спрашивают зачем. Ставь, коли велю.

– Мигом... есть холсток. Для вас... мигом!

Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони.

– Так и сидите, – сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом...

Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Никитской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брюллова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека?

– Господи, – переживала, вертясь на стуле, Елизавета Ивановна, – да некрасивая я севодни. Дозвольте хоть приодеться мне!

– Синьора, уже некогда, – отвечал ей Брюллов,

– Лиза, – вступился муж наставительным тоном, – ты гению не перечь. Карл Палыч без тебя лучше все знает...

Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха.

– Коли меня не уважаешь, – бубнил Дурнов, – так хоть гения уважь. Или не слыхала, что такое вдохновение?

– Слыхала... застрашал ты меня словом этим.

– Помолчи хоть ты, Ванька, – строго потребовал Брюллов.

В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца.

– Вообще-то... дрянь! – неожиданно произнес маэстро.

– Что, что? – спросил хозяин. – Какая дрянь?

– Дрянь, говорю... вдохновение – дрянь! Порыв к работе важнее. На одном вдохновении далеко не ускачешь. Гений – это лишь талант, который работает, работает... пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо – тогда получится.

Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный портрет с барина по 10 000 рублей, да еще кривится при этом. Ивану Трофимовичу стало не по себе...

– Между прочим, – пожаловался в потолок, – нуждишка у нас, с хлеба на квас перебиваемся...

Брюллов пасмурно и недовольно глянул на него:

– И я, брат, нуждаюсь... сильно задолжал на Москве!

Величавым жестом он взялся за палитру.

Дурнов предложил ему уголек для разметки холста:

– Уголек-то... держите. Вот он.

Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ивановну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул взамен кусок мелу:

– Может, мелком фигуру очертите, как и водится?

– Зачем? – спросил Брюллов отвлеченно.

– Все живописцы так-то мудро поступают.

– А я, прости, не мудрец, – отвечал Брюллов.

И вдруг... о ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука выбросила кисть вперед – и в самом центре девственного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка.

Никто ничего не понимал, в дверях зашумели.

– Эй, вы! Потихе там... – крикнул хозяин.

Брюллов утомленно, словно проделав адский труд, откинулся на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красивой точкой, возникшей посреди холста по его желанию.

– А что же это? – осторожно спросил Дурнов.

– Губы.

– Впервые вижу.

– Дурак! Или губ никогда не видел?

– Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать?

– Я так делаю. Могу и с уха начать... Чем плохо?

Елизавета Ивановна чуть привстала со стула:

- Можно и мне посмотреть?
- Сиди уж, – придержал ее муж.

Брюллов, ограничив себя написанием губ, резко отшвырнул кисть. При этом он брезгливо сказал хозяину:

- М а ж ь...
- Дурнов с робостью перенял кисть:
- Карл Палыч, а что мазать-то мне?
- Платок мажь!
- Как мазать?
- Как хочешь, так и мажь. Что ты меня спрашиваешь?
- Хозяин начал “мазать”. Иногда спрашивал: так ли?
- Мне все равно, – отвечал Брюллов, даже не глядя...

Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем корпусом, порывисто и живо, обратился к мольберту:

- Ванька, ты – гений... Теперь дай кисть.
- Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица.
- Чуть-чуть глаза... вот так, – велел он.

Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот момент она напомнила Брюллову одну из тех римлянок, которых он изображал в картине разрушения Помпеи.

- Так, так! – обрадовался он. – Благодарю, синьора...

И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать:

- Не выспался... Пойду-ка я.
- Карл Палыч, – взмолился Дурнов, – не бросайте, закончите!
- Ах, брат! Дальше как-то неинтересно.
- Христом-Богом прошу... все просим. Закончите!
- Бери и заканчивай сам, – сказал Брюллов, поднимаясь.
- Да не могу я так, как вы это можете.

Брюллов пошел к двери, явно недовольный собой; издали глянул на портрет и звонко выкрикнул:

- Дрянь! Мусор! Выбрось!
- И его тут же не стало... Великий человек удалился.

Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек добросовестный. Он понимал, что нельзя править и дописывать начатое гением. Портрет остался незавершенным шедевром...

В таких портретах таится особая прелесть. Как много надо было сказать! И как много еще не сказано! В таких случаях мы додумаем портрет сами...

Куда делась наша тарелка?

Я был принят в Союз еще молодым парнем – вскоре после выхода в свет моего первого “кирпича”; тогда же меня избрали в члены военной комиссии ССП, и, помню, первое заседание возглавляла поэтесса Людмила Попова, объявившая:

– Товарищи, кто из вас желает в авиацию, кто на флот, кто в десантные войска, кто...?

Писатели старшего поколения, уже солидные мэтры, быстро расхватили литературные шефства над летчиками, танкистами, саперами, и Попова смущенно сказала:

– Товарищи, у нас есть заявка и от пожарников.

Но тушить пожары никто не желал, возникло неловкое молчание, и тогда я, как школьник, поднял руку:

– А можно я?..

С тех пор прошло много лет, но в своем выборе никогда не раскаиваюсь: я повидал при тушении пожаров много такого, о чем обыватели не подозревают. Запомнилось даже мое первое появление в штабе пожарных частей Ленинградского округа, когда я в разговоре с начальством употребил слово “пожарник”, тут же уличенный в безграмотности.

– Писатель, а не знает разницы между пожарным и пожарником!

– А разве есть разница? – недоумевал я.

– Еще какая! “Пожарный” – это тот, кто тушит пожары, а “пожарник” – это нищий погорелец, собирающий милостыню в городах для строительства новой деревни вместо сгоревшей...

С тех пор, вдохнув трагического дыма случайных пожаров и преступных поджогов, я остался навеки влюбленным не в пожары, конечно, а в тех мужественных людей, что гасят адское пламя. Много лет я выискивал и находил в своей библиотеке сведения о роковых пожарах в России, уничтожавших целые города и сохранившихся в народной памяти. Сейчас, насколько мне известно, самые страшные пожары случаются в универсамах, а раньше немало жертв огонь похищал в театрах или балаганах. Но я хочу рассказать об одном лишь пожаре, о котором почти все знают, но, быть может, не всем известны его подробности...

Начинался морозный день 17 декабря 1837 года. С утра в Зимнем дворце было шумно и тесно от сборища молодых и здоровых рекрутов, из которых выбирали самых здоровущих для служения в гвардии. Дежурный флигель-адъютант Иван Лужин выслушал старого камердинера, который сообщил, что вся прислуга дворца давно ощущает запах дыма:

– То ли опять сажа в дымоходах горит, то ли...

Лужин велел дворцовым пожарным осмотреться в печах, а на крышу дворца послал трубочистов, чтобы своими чугунными шарами с “ёжиками” они прочистили дымоходы. Министр императорского двора князь Петр Волконский, ленивый сибарит, сказал:

– До чего же вы, Лужин, беспокойный! Да пошлите по залам скороходов с курильницами, чтобы забили дурной запах...

Аромат благовоний на время заглушил подозрительный запах дыма. Вечером того же дня император с женою отбыл в театр, где давали оперу с балетом “Влюбленная баядерка”, а Мария Тальони была, как никогда, очаровательна. В середине представления в царскую ложу бочком протиснулся тот же Иван Лужин, и Николай I с неудовольствием оторвался от сцены, на которой порхали придворные сильфиды.

– Что случилось? – тихо спросил царь.

– Ваше величество, что-то неладное в Зимнем дворце, в Фельдмаршальской зале уже полно дыма.

– Сейчас приеду, – еще тише ответил царь и шепнул жене, чтобы ехала не в Зимний, а в Аничков дворец...

На выходе из театра Лужина перехватил Волконский:

– Зачем беспокоили нашего государя? Был дым, нету дыма – велика важность, первый раз, что ли, у нас дымом пахнет?

Николай I, не расставаясь с театральным биноклем, покинул ложу, в которой оставил жену, и удалился. В зале сразу это заметили, начались шепоты и догадки, публика начала расходиться, уже не шепотом, а во весь голос люди заговорили:

– Беда, беда! Зимний дворец горит... пожар...

...События в этот день развивались так. Уже не дымный запах, а явная струйка дыма появилась в камердинерской, явственно сочившаяся из-за печки. Ниже размещался архив, но там было сыро и холодно, а дыма совсем не ощущалось.

– А что под архивом? – спросил Лужин у камердинера.

– Аптекарская...

Я задам читателю странный вопрос: кто жил в Зимнем дворце?

Помимо царской семьи и многочисленной челяди, дворец населяли тогда около трех с половиною тысяч человек посторонних (именно такую цифру приводит шеф жандармов Бенкендорф, ее подтверждает и знаменитый архитектор Монферан). Выражаясь современным языком, дворец напоминал громадное столичное “общежитие”: среди его жителей можно было встретить бездомных офицеров, ветеранов суворовских походов, было много одиноких старух, дворец давал приют даже солдатам-инвалидам, наконец, на его чердаках издавна проживало немало дворцовой прислуги вместе с женами и детьми, они там – на чердаке – разводили даже поросят и держали куриные выводки... Лужин проник в полуподвальную “аптекарскую”, где провизоры готовили лекарства для нужд двора и бедных петербуржцев. Выветривая дурные запахи через отверстие, пробитое ими в дымоходе, фармацевты часто выстуживали свою лабораторию, что не очень-то нравилось дровотаскам, здесь же всегда ночевавшим. Они заткнули вентиляцию скомканной рогожей, но рогожа провалилась в трубу дымохода и загорелась от раскаленной сажи. Пожарные вытащили рогожу, изматерили дровотасков, дымоход залили водой, и поначалу казалось, что все в порядке. Запах исчез, а потом вдруг заполнил Фельдмаршальский зал, и вот тогда Иван Лужин потревожил Николая I в театре. Накинув шинель с бобровым воротником и надев шляпу с высоким султаном, он указал Лужину:

– Весь резерв пожарных частей поднять по тревоге...

Он подкатил на санках к дворцу, когда Дворцовая и Адмиралтейская площади уже были заполнены народом, от Певческого моста до Александровской колонны стлыли на морозе полки гвардии – павловцы и семеновцы. В толпе горожан находился и крепостной живописец Иван Зайцев, сохранивший до старости свое главное впечатление: “Несмотря на многие тысячи народа, тишина на площади была *страшная*”, — это и неудивительно, ибо весь ход российской истории, вольно или невольно, был связан с этим великолепным дворцом, которому грозило уничтожение, как угрожало оно и примыкающему к нему Эрмитажу...

Когда пожарные стали вскрывать паркет в Фельдмаршальском зале, то – с первых же ударов ломом в пол – с грохотом обрушились зеркальные двери, из их проемов вырвались громадные факелы пламени. Огонь мигом охватил потолок, ярко полыхнули золоченые люстры, с хоров посыпались жарко горевшие стойки вычурной деревянной балюстрады...

– Гвардии народ ко дворцу не допускать, – повелел в этот момент Николай I. – Солдатам выносить что можно и все спасенное складывать на площади. А окна в Фельдмаршальском зале разбить, чтобы вытянуло на улицу дым...

Ночной мрак окутывал толпы горожан, затаивших дыхание, во тьме смутно белели и лица солдат в четких шеренгах гвардии. Но когда вылетели стекла вместе с оконными рамами, то могучий сквозняк сразу раздул пламя на сторающих шторах, а сам дворец осветился изнутри, как волшебный фонарь; при этом дворец осветил и людей. Очевидец писал: “Эта внезапность

превращения дворца из мрака – в огненный, произвела то, что весь люд, находившийся на площади, народ и войско, одновременно, единым возгласом, все разом ахнули...”

С этого времени пожар начал свое победное торжество!

Его громадное зарево увидели за полсотни верст от Петербурга – и жители окрестных деревень, и путники, подъезжавшие к столице; его наблюдал из окна кареты и придворный поэт Жуковский, имевший жительство в “шепелевской” части Зимнего дворца. Именно это грозное пламя послужило для солдат как бы сигналом – они скопом хлынули во дворец, разбегаясь по лабиринтам его коридоров и помещений, начали спасать все подряд, будь то книги или ковры, канделябры или вазы, фарфор или стекляшки, иконы и белье. Конечно, что тут самое ценное, а что и гроша не стоит – этого они не понимали, с одинаковым рвением стаскивая со стен портреты Каравакка или Виже-Лебрэн, но, спасая шедевры живописи, солдаты героически тащили из огня и сундук придворного сапожника с ошметками разноцветной кожи...

Николай I (отдадим ему должное) за чужие спины не прятался, его видели в самых опасных местах. Все спасенное сваливали у подножия Александровской колонны, и ангел-хранитель на ее вершине осенял крестом царское имущество. Император, как отец, уже разбудил своих детей, отправив их в Аничков дворец, сам же остался командовать, при этом он почему-то не расставался с театральным биноклем. Его зычный голос был далеко слышен:

– Где Пинкертон? – взывал он из облаков дыма.

– Кто видел Пинкертона? – подхватывали в свите. – Почему механик не заводит паровую машину для подачи воды?

Пинкертон куда-то исчез, а паровая машина, как выяснилось позже, оказалась забитой льдом. Воду завозили бочками от прорубей на Неве, но брандспойты не справлялись с огнем, а ручные насосы работали на мускульной силе тех же солдат и горожан, причем каждый насос требовал усилий не менее сорока человек. Ближе к полуночи Бенкендорф догадался сказать царю:

– Ваше величество, огонь уже возле дверей вашего кабинета. Не пора ли выносить из него важные государственные бумаги?

– Пошел ты... – пустил его царь по матушке. – Это у тебя кабинет завален недописанными бумагами, а я любой вопрос разрешаю сразу, и все бумаги с моего стола мгновенно следуют к исполнению...

В одном из залов солдаты, уже в дымившихся на них шинелях, явно рисковали жизнью, стараясь оторвать от стены громадное зеркало времен великой модницы Елизаветы, окруженное великолепной золотой рамой.

– Тяни, братцы... еще... взяли! Трещит, зараза...

– Пантелей, я справа, а ты слева... давай.

– Дураки! – обрубил их царь. – Вы же сгорите. Прочь...

Но солдатам, вчерашним парням из деревень, такое зеркало казалось неслыханной роскошью, и они не повиновались царю, силились отодрать его от стены. Тогда император швырнул в зеркало свой бинокль, оно разлетелось в куски, и лишь тогда упрямы оставили свои потуги... Сергей Кокоскин, обер-полицмейстер Петербурга, угодил в страшный “прогар”, паркет под ним обрушился, генерал со второго этажа оказался в первом, сверху на него сыпались горящие плашки вошеного паркета.

– Жив? – осведомился император.

– Жив. Но вроде бы очумел в полете.

– Тащите его на площадь. Пусть очухается...

Зато уж намучились солдаты со статуей работы гениального Кановы – его бесподобная Парка из чистого мрамора, как и много веков назад, задумчиво пряла золотую нить своей судьбы, а гвардии никак не удавалось оторвать ее от пола.

– Братцы, так эфта девка привинчена! – догадались они.

Статую раскачали, ее пьедестал с “мясом” отодрали от паркета и поволокли – в огне и в дыму – на улицу, крича:

– Так-так, осторожнее... бери влево... держи справа!

Но при этом бедная Парка лишилась руки, что в таком положении даже неудивительно. Гора спасенных сокровищ и всякого барахла безобразной кучей громоздилась на площади, и вдруг – в этом невообразимом хаосе, среди воплей ужаса и проклятий – раздалась музыка жеманного котильона: это сами собой вдруг заиграли музыкальные часы... Страшный грохот оборвал старомодный мотив: с крыши Зимнего дворца обрушилась телеграфная вышка, установленная на крыше дворца, сигналы которой были видимы даже из Кронштадта, и вся эта “техника” рухнула прямо в кабинет императора, сокрушая на своем пути перекрытия межэтажных настилов, довершая всеобщий хаос.

– Выносить штандарты и знамена гвардии.

– Где они? – слышалось.

– В зале Арабском, там же и боевые литавры.

– Туда уже не пройти, – кричал кто-то.

– Русская гвардия везде пройдет, – звучало ответное...

Всюду что-то трещало и рушилось, потолки обвалились, осыпая людей обломками купидонов с колчанами любовных стрел и амурчиков, прижавших пальчики к губам. Огненные сквозняки неслись людям навстречу с каким-то ужасающим завыванием, в этом хаосе все ломалось, корежилось, тут же вспыхивало, а дым иногда был настолько густ, что люди, глотнув его единожды, тут же падали замертво. Беда была еще в том, что солдаты – не придворные, откуда им знать, куда ведут двери и лестницы, где вход, а где выход, куда бежать, где спастись...

Зимний дворец, заложенный еще во времена Анны Иоанновны и распахнувший свои двери в 1762 году перед молодой Екатериной, еще не ставшей тогда “Великой”, этот строенный и не раз перестроенный дворец, правда, был перенасыщен сокровищами дома Романовых, которые давно потеряли счет своим богатствам, но зато Зимний дворец не имел главного, что необходимо для всех капитальных зданий, – он не имел брандмауэров, которые бы перегорали его изнутри пожароустойчивой кирпичной кладкой, подобно тому, как водонепроницаемые переборки делят корабль на отдельные отсеки, делая его непотопляемым.

Пожар усиливался! Славу Богу, вовремя догадались послать солдат в Военную галерею Героев 1812 года: вынутые из плафонов, портреты были вынесены на площадь, сложены на бархатных диванах императрицы, и герои нашего Отечества пасмурно взирали с полотен на окружающие их малахитовые шкатулки, на лепнину и бронзу, антикварные безделушки для забавы императрицы. Николай I загодя пробился в спальню своей жены, чтобы спасти ее бриллианты. Ящик, в котором они хранились, был уже открыт и... пуст. “По выражению его лица, – вспоминал очевидец, – видно было, сколь это обстоятельство его огорчило, но он ни единым словом не высказал своего неудовольствия” (а потом выяснилось, что еще в начале пожара все бриллианты царицы вынесла ее доверенная камер-фрау). Возле спасенных вещей императрицы дежурил, словно хороший Цербер, статский советник Александр Блок – прадед нашего знаменитого поэта.

– Что несете, братцы? – окликнул он солдат.

Мимо него протащили какой-то чурбан, весь черный от копоти и дымившийся, словно головешка, и только пальцы, торчавшие из сапога, поражали удивительной белизной. Это был полицмейстер столицы Кокошкин, угодивший в роковой “прогар”.

– Куда класть-то его? – спрашивали у Блока.

– Ах, милый Сергей Александрович! – захохотал Блок. – Никак вы? Да кладите его на диван...

– Спасибо, – закашлялся Кокошкин. – Спасибо и солдатикам, что откопали меня, и теперь я будто вторично рожденный.

Пошел третий час ночи, когда Николай I и его опаленная свита покинули Зимний дворец, убедившись, что спасти его невозможно. Императорский трон, символ величия и могущества Российской империи, вынесенный на площадь, сиротливо затерялся в свалке разных вещей, а меж благородной позолоты, поверх бархата и хрусталя дворцовые служители складывали свое барахлишко, а заботливый чиновник Блок водрузил на сиденье трона клетку с попугаем, который молчал, перепуганный, нахохлившись, а потом вдруг разинул клюв и стал орать: “Добрый вечерrrrr!..”

Император потерянно бродил среди своего имущества, долго отыскивая в вещах жены какую-то акварель, которую императрица очень любила, потом безнадежно махнул рукой и объявил свите:

– Делать нечего! Впустите во дворец народ... Пусть каждый вынесет хоть малую толику – и на том спасибо!

Чуть ли не впервые за всю историю России народ был допущен в обиталище Романовых, и многочисленная толпа горожан, дотоле стывшая на морозе, притопывая по снегу валенками, вдруг с каким-то торжествующим ревом, словно могучий океанский прибой, разом накатила на пылающий дворец, проламываясь в огненные ворота столь бесстрашно, будто штурмовали неприступную цитадель, которая перед ними разом капитулировала...

Кокошкин оживился, соскакивая с дивана, и кричал:

– Эй, православные! Только не воровать...

Памятная записка Бенкендорфа, письма графа Ал. Орлова, донесение Модеста Корфа, старческие воспоминания Ивана Лужина, генерала Льва Барановича, мемуары семеновца Дмитрия Колокольцева, корнета Мирбаха – всего нам не перечислить, и все об одном и том же: о том, как погиб в одну ночь Зимний дворец и как был спасен Эрмитаж, составляющий единое целое с Зимним дворцом, почти кровный близнец ему...

Полтысячи пожарных геройски сражались с пламенем, но царь, понадеясь на свою гвардию, в их работу не вмешивался. Конечно, он понимал великое значение брандмауэров, и усердный генерал Клейнмихель велел егерям таскать кирпичи, из которых спешно выкладывали внутри дворца новые стенки, чтобы остановить продвижение огня. Но огонь оказался пронырлив и, упершись в стенку кирпича, он быстро скакал на чердак, откуда и полыхал далее, завоеывая для себя все новые пространства.

Брандмейстер доложил императору:

– Ваше величество, огонь-то на пороге Концертного зала, а там недалече и до Эрмитажа... Что прикажете делать?

– Тушите, – почти вяло отмахнулся царь, уже смирившись с тем, что дворец обречен, и побрел к саням, чтобы отъехать в Аничков дворец, где по нему изныла императрица...

Вестимо, пожарные могли и не знать о гении Рафаэля, а солдаты никогда не слышали о Корреджио, но, кажется, все люди инстинктивно осознали подлинное значение Эрмитажа, соединенного с догорающим дворцом крытою навесной галереей. Миллионная улица, ведущая к дворцу, была забита запаренными лошадьми, заставлена обледенелыми бочками, тесно было от горожан-добровольцев, которые час за часом непрестанно вручную качали тяжелые оглобли насосов, чтобы заранее окачивать Эрмитаж ледяною водой. Ветер, раздувая свирепое пламя, уже закутывал Эрмитаж едкими клубами дыма, он уже перебрасывал на его крышу снопы раскаленных искр и летящие по воздуху головни, полыхавшие в полете, словно “конгревские” боевые ракеты. Начиналась последняя, решающая битва, а водометные трубы, устремленные ввысь, теперь напоминали жерла грохочущих орудий...

Переход из дворца в Эрмитаж заранее был разрушен – от навесной галереи остались только железные брусья, на которых теперь сидели пожарные и солдаты с трубами в руках. Они заливали водою огонь, рвавшийся из руин дворца, чтобы он не переметнулся далее – на сокровища Эрмитажа. Время от времени напор пламени, выметнув из дворца длинный и жаркий язык, будто “слизывал” людей с брусьев, они с высоты падали наземь, разбиваясь об камни насмерть. Но тут же на смену павшим влезли на брусья другие, снова вонзая в алчное пекло пожара острые бивни водяного напора.

– Качай, качай! – орали сверху. – Качай, родимые...

По Миллионной неслись потоки воды, как в наводнении, а сами добровольцы-качалыщики были мокрыми до нитки на морозе и даже не ощущали мороза, качая, качая, качая... Старики, бывшие в 1837 году молодыми, на старости лет вспоминали, что в людях возникло какое-то озлобление, столь необходимое для битвы: “Это был бой с силою огненной стихии, который ни с каким боем в мире сравниться не может. Тут все люди, без малейших задних помыслов, приносили себя в жертву, и преданность нашего солдата здесь выказалась начистоту...”

Нескладно это сказано, зато уж верно!

К пяти часам утра, когда люди и лошади, подвозившие воду от Невы, уже валились с ног от усталости, Эрмитаж удалось отстоять. Но Зимний дворец еще горел и догорал еще трое суток подряд. От сказочного создания Расстрелли остались закопченные стены, а внутри он был завален горами тлеющего мусора, в котором намертво запеклись черные, как уголь, безымянные трупы. Потом день за днем множество подвод – обозами! – вывозили этот ужасный “шлак” тысячами пудов на загородную свалку, а могил погибших в неравной битве с огнем не сохранилось: свалка стала их кладбищем. В газетах о количестве жертв помалкивали, в городе об этих жертвах лучше всех знали, пожалуй, одни лишь солдаты гвардии, которые долго разгребали тлеющие завалы внутри Зимнего дворца.

Через несколько дней после пожара в Аничковом дворце, где временно расселилась царская семья и придворные, появился поэт Жуковский. Известно, что Василий Андреевич был человек учтивый, любезный и крайне деликатный. Потому-то, наверное, он и навестил императора, смущенный, чувствуя себя виноватым.

– Ваше величество, – было им сказано, – у меня нет слов, дабы выразить вам свое сочувствие, но... Желая принести к подножию вашего престола свои глубочайшие извинения.

– Жуковский, не пойму, о чем просишь ты?

Поэту было неловко, что царь остался “бездомным погорельцем”, а он, придворный поэт, имевший во дворце казенную квартиру, нисколько не пострадал от пожара. Надо же так случиться! Стихия оказалась большой шутницей: огонь пожрал в Зимнем дворце все, что оказалось ему доступно, но чудесным образом он миновал жилище поэта, оставив его невредимым.

– Мне так неловко перед вами, – говорил Жуковский, – но, видит Бог, я нисколько не виноват в том, что огненная гидра не навестила мою скромную поэтическую обитель...

Пожар в Зимнем дворце начался 17 декабря, первое совещание комиссии по реставрации дворца состоялось 21 декабря, а 29 декабря уже было издано “Положение” о порядке восстановления дворца в прежнем виде (и через год он возник снова, как сказочный Феникс, на том же месте, где и стоит поныне). А пока разгружалась Дворцовая площадь от завалов спасенного имущества, министерство императорского двора занималось подсчетом убытков и неизбежных пропаж. Князь Петр Волконский, как и чиновники его министерства, думали одинаково плохо:

– Конечно, пока вещи выносили солдаты гвардии, тут, надо полагать, все сойдется в идеальном ажуре. А вот когда его величество соизволил разрешить доступ во дворец народа, тут...

Так думали они, своего народа не знавшие!

Спору нет, во всеобщей суматохе пожара многое оказалось безвозвратно утеряно, много добра погибло в пламени, многое было просто переломано в спешке. Среди всякой ерунды

недосчитались и царского кофейника. Как выяснилось, его украл солдат гвардии. Украл ради наживы, думая, что этот кофейник продаст с выгодой для себя. Но – вот беда! – во всем большом городе не нашел ни единого покупателя.

– Эвон, – тыкали пальцем, – никак герб туточки? Украл, рожа поганая? Так и ступай прочь – нам краденого не надобно...

Кончилось это тем, что солдата схватили вместе с кофейником и поволокли под белые ручки в полицию, чтобы выдрать его во славу Божию. Официальное заключение Бенкендорфа гласило: “Кроме этого кофейника, ничего не было ни похищено, ни потеряно из всей гигантской груды драгоценного убранства дворца, которая и валялась под открытым небом на площади, доступная всем и каждому”.

Так что часовых с ружьями ставить не пришлось! Правда, вскоре придворные лакеи подняли великий шум из-за одной паршивой тарелки из царского сервиза:

– Мы уж все обыскали, нету тарелки. Небось украли! До чего же нонеча бессовестный народец пошел.

– Небось сами вы и стащили, – сказал им Волконский.

– Вот-те хрест святой – мы не брали.

– И Бог с ней, с этой тарелкой, – зевнул министр...

А весной, когда стаял снег на Дворцовой площади, тарелка сама по себе объявилась под лучами майского солнышка, целехонькая и невредимая. Такова, читатель, была нравственность тогдашнего простонародья – в то далекое от нас время, когда до 1937 года народу оставалось жить ровно столетие.

Теперь оставьте свою тарелку на улице, а потом спрашивайте:

– Куда делась наша тарелка?

А куда, читатель, спрашиваю я вас, делась и наша совесть?

СЫН “ПИКОВОЙ ДАМЫ”

В один из дней осени 1844 года у московской заставы с утра пораньше толпились люди разного звания – дворяне и купцы, нищие и дворовые: ж д а л и. Ближе к вечеру вдали показались траурные дроги, обитые черным крепом, усталые коняги тяжело влекли катафалк по грязи. Тут весь народ набежал, лошадей сразу выпрягли, и люди сами впряглись в траурную колесницу:

– Ну, православные, подгонять не надо – поехали!

В город въехали затемно, появились и факелы, освещавшие траурную процессию. “Улицы запрудились народом, – писал очевидец, – но полиции не было, тишина была поразительная; многие плакали”. Люди попроще, газет не читавшие, спрашивали:

– Чей покойничек-то?

– Да наш – московский.

– А везут-то откеле?

– Да прямо из Парижа, чтобы в Москве остался...

Три дня гроб стоял в церкви Дмитрия Солунского, три дня площадь перед храмом была заполнена москвичами. Наконец состоялось погребение, а всех, кто провожал гроб до кладбища, тут же одаривали золотыми кольцами – на память об этом дне, для нищих же был накрыт стол для обильного угощения...

Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын скончался в Париже 27 марта 1844 года, исключенный из списков российского генералитета 14 апреля того же года.

Бурная и браваурная жизнь человека закончилась.

Интересно, а как она, эта жизнь, начиналась?

У нас хорошо знают княгиню Наталью Петровну Голицыну, урожденную графиню Чернышеву, которая послужила А.С. Пушкину прообразом для его “Пиковой дамы”. О дочери ее Софье, ставшей графиней Строгановой, которая не умерла до тех пор, пока не завершила перевод дантевского “Ада”, я уже писал, но у нас плохо извещены о сыне “пиковой дамы”, который почтительно вскакивал перед матерью и садился лишь с ее сиятельного дозволения...

Конечно, княжеское детство – это не мое детство и не ваше, читатель. Разница есть, и, смею думать, немалая. Получив домашнее (и отличное!) воспитание под надзором гувернеров и строгой матери, Дмитрий с братом Борисом завершали образование в Страсбурге, который славился не только древним университетом, но и военной академией, а сидели они на одной скамье с Максимилианом, королем баварским, что никого не удивляло. Потом братья путешествовали по Европе, надолго задержавшись в Париже, еще застав Версаль во всем его былом великолепии, а на родину они вернулись накануне Французской революции.

В 1794 году Дмитрий Голицын уже штурмовал Прагу (предместье Варшавы), и его храбрость была отмечена Суворовым, а в возрасте 29 лет князь уже славился как отличный генерал кавалерии, имея чин генерал-лейтенанта. А вот братцу Борису, столь же лихому, не повезло: вздумалось ему бить в барабан напротив дома прусского консула – и стучал столь усердно, пока консул со страху не умер, после чего последовала неизбежная отставка (сейчас бы сказали – “за хулиганство”). Впрочем, князя Бориса отставка не утратила: давний поклонник Расина и Вольтера, он содеялся российским писателем под псевдонимом “Дм. Пименов”, князь Борис писал стихи и нравственные поучения.

– Кем желаешь быть в отставной юдоли? – спрашивал его брат.

– Только русским, – отвечал князь Борис, – чтобы с русскими и говорить только по-русски...

Он сошелся с крестьянкой, имел от нее деток, а на вечерах честно платил штраф, если его ловили на том, что вместо русского слова употреблял иностранное. Очень хороший человек был князь Борис, и боялся он только своей матери:

– Не дай-то Бог, ежели проведает, что я, убежденный холостяк, уже детишками обзавелся...

Но уже начиналась громкая полоса наполеоновских войн.

Поверьте, если бы я перечислил только сражения, в которых участвовал князь Дмитрий Голицын, если бы назвал все ордена, которыми он был награжден, то мне вряд ли хватило бы этой страницы. Голицын был женат на Татьяне Васильевне Васильчиковой, давно влюбленной в него, женщине скромной и умной; на портретах она предстает красавицей, но я склонен доверять мемуаристам, которые о красоте княгини деликатно помалкивают.

Вскоре отставка коснулась и князя Дмитрия, но причина его отставки была гораздо сложнее барабанного боя. Швеция – последний раз! – воевала с Россией; держались очень сильные морозы; Голицын, командуя русской армией в Финляндии, слал кавалерию через замерзший Кваркен (Ботнический залив), дабы разведать подходы к шведской столице. Когда же этот план был у него готов, само исполнение плана поручили Барклаю-де-Толли.

– Я не виноват, – извинился Барклай перед князем, – что судьба угощает меня лавровым супом, хотя эти лавры вы столь искусно сплели для украшения своего благородного чела...

Голицын вернулся в Петербург и сразу подал в отставку.

На балу в Зимнем дворце император Александр I, улучив минуту, просил князя Голицына не покидать армию.

– Я бы и не покинул ее, если бы не был унижен вами.

– Куда же вы теперь? – спросил император.

– Я еще не завершил свое образование, а посему желаю проехаться по университетам Германии ради слушания лекций...

Он так и поступил, отец семейства и генерал-лейтенант, не погнушавшийся сидеть на скамье студента, слушая лекции немецких профессоров: князя занимали философия, история, право и ботаника. 1812 год буквально сорвал его со скамьи студента и снова вскинул в боевое седло – опять он стал генералом кавалерии!

Кутузов поручил ему конницу 2-й армии, эту грозную “лаву” Голицын и водил прямо в пламя Бородина. В этой же битве участвовал и брат Борис, тоже вернувшийся из отставки, и был жестоко изранен. После оставления Москвы – куда ехать?

– Вези в нашу вотчину – Большие Вязёмы, – просил брат...

Как сказать ему, что в Вязёмах уже ночует сам Наполеон (наверное, именно по этой причине древнее имение Голицыных и не было разграблено, как другие подмосковные). Брат Борис, умирая, завещал Дмитрию, чтобы не оставил его дочерей, рожденных от крестьянки. Татьяна Васильевна приютила девочек у себя, опять-таки скрывая их происхождение от “пиковой дамы”, ставшей ее грозной свекровью (одна из этих девочек-сирот стала потом женою профессора Шевырева, а вторая осчастливила тверского губернатора Бакунина, что был лицейским товарищем Пушкина)...

Дмитрий Владимирович закончил войну в Париже!

Он уже тогда был отцом двух дочерей, Кати и Наташи, а после войны Татьяна Васильевна одарила его двумя сыновьями. Пять мирных лет князь Голицын командовал кавалерийским корпусом, уже не в силах разместить все ордена на своем мундире. Но в конце 1819 года его боевая карьера неожиданно завершилась.

Александр I пожелал его видеть:

– Вы слышали, какое несчастье в Москве? Скончался тамошний командующий граф Тормасов, оплаканный жителями. Я очень прошу, князь, заступить на его место. После войны и пожара, который в Европе уже стали величать “историческими”, Тормасов начал было отстра-

ивать Москву заново, но... не успел, и не вам ли, милейший князь, завершить возрождение первопрестольной?

Голицын молча склонил голову, согласный. Начиналась новая жизнь, а впереди были 24 года жизни, и каждый день этих долгих 24 лет будет целиком отдан любимой князем Москве.

Многое погибло в огне – научная библиотека университета, знаменитые книгохранилища графа Бутурлина и Мусина-Пушкина, но голицынская библиотека в Вязёмах уцелела, ибо в ней соизволил выспаться сам Наполеон, и теперь Голицын уже подумывал:

– Не пора ли Москве иметь свою публичную библиотеку? А я согласен ради ее основания пожертвовать своей вязёмской, в коей еще от предков собраны редкостные раритеты...

Первопрестольная при нем возрождалась, но князь Голицын создавал в Москве и то, чем “допожарная” Москва не могла похвалиться, – больницы для простонародья, а строилось при Голицыне очень много, строилось быстро, и Москва постепенно обретала тот приятный, почти домашний уют, что делал ее милой и дорогой сердцу каждого россиянина. Если вдумчиво перебрать старые листы акварелей и цветных литографий, изображающих Москву “послепожарных” лет, то, ей-ей, перед нами предстанет чарующий город, наполненный волшебными садами, прелестью тихих переулков, сценами народных гуляний, и нигде, пожалуй, не было так много концертов, домашних оркестров, танцев и плясок...

В отличие от покойного брата, князь Дмитрий русский язык знал неважно. Говорил-то он правильно, а вот писал плохо. По этой причине деловые бумаги составлялись им на французском языке, а чиновники тут же переводили их на русский. Князю, когда он стал управлять Москвою, было уже почти 50 лет, но к службе он привлекал совсем юную молодежь, а стариков безжалостно гнал в отставку. У него в канцелярии порою набиралось до полутораста юношей (сверх штата!), все с университетским образованием, а если какой старый хрыч, умудренный богатым опытом чиновничества и взяточничества, просился в штат, Дмитрий Владимирович говорил ему:

– А зачем вам это? Я беру молодежь, дабы училась, а созрев, занимала посты поважнее, но вы-то, любезный, уже не одну бочку чернил извели, человек опытный, – вам сам Бог велел искать место в провинции. Вот и езжайте... на Камчатку хотя бы!

– Да у меня в Москве домик, ваше сиятельство.

– Тут у всех по домику.

– У меня и семья, ваше сияте...

– Эка удивили! У всех семья.

– И две дщерицы на выданье.

– И у меня две дуры подрастают...

Зато вот ссыльного поэта Адама Мицкевича генерал-губернатор сделал (повторяю – ссыльного!) своим “чиновником особых поручений”, допустив его до секретов губернского правления. И это после 1825 года, после восстания декабристов, когда немало губернаторов на святой Руси наклали полные штаны от страха. Зато вот грибоедовской пьесой “Горе от ума” князь Голицын остался очень и очень недоволен, говоря в обществе:

– Всю Москву представил в уродливом свете, а москвичей превратил в карикатуры... Между тем Петербург-то нами и кормится: понадобилась ему певица – даем Парашу Бартеневу, нужен искусный врач – вот вам Маркус, захотели богатого вельможу – переманили Лазарева, а институт восточных языков, Лазаревым же основанный, все-таки не погнался за ним в Питер, у нас остался...

Совместно с женою он основал в Москве Общество садоводства, где и пригодились его научные знания ботаники. Голицын, между прочим, считал, что незавидная жизнь даже тошлого придорожного кустика драгоценна, как и роскошная жизнь оранжерейного ананаса.

– Кстати, – рассуждал он, – при матушке Катерине мы занимали первое место в мире по тепличному выращиванию ананасов, а теперь... Куда подевались наши великороссийские ананасы?

Где фрукты – там и корзины. Татьяна Васильевна, супруга князя, была озабочена массовым производством корзин из ивняка, по ее почину в Больших Вязёмах и окрестностях возник корзиночный промысел; потом крестьяне наладили плетение художественной мебели из белых или черненых прутьев, “вязёмская плетенка” славилась на всю Россию; этот артельный промысел существовал до 1917 года, когда крестьянам стало не до корзин. Человек не без слабостей, и москвичи скоро учуяли, что их генерал-губернатор падок до женщин. При всем уважении к супруге, уже переступившей четвертый десяток, князь Голицын никогда не забывал, что мир переполнен другими женщинами, и чем они моложе – тем лучше. Делами раскольников в Московской губернии ведал некий Федор Тургенев, жулик и прохвост, каких свет не видывал. Он сразу почуял, на чем можно поживиться, и однажды, громко рыдая, сообщил (по секрету, конечно), что его целомудренная дочь Мерепа ночей не спит, сгорая от страсти к душечке-князю. А за князем Голицыным дело не стало, он эту целомудренную страсть мигом утешил, зато Ф.И. Тургенев впредь взятки брал безбоязненно, очень быстро заимев три тысячи крепостных душ...

Кстати, создание Третьего Отделения во главе с Бенкендорфом князь Голицын открыто порицал, чувствуя себя как бы лично оскорбленным, ибо тайный надзор жандармов угрожал и ему, генерал-губернатору. Был у него в канцелярии молодой чиновник Семен Стромилов, человек острого ума, почему и строчил на всех эпиграммы; не забывал он при случае и генерал-губернатора высмеять; именно у Стромилова князь Голицын и спрашивал:

– Проведай, кто за мной надзирать станет?

– Ваше сиятельство предаст именно тот, кто более всех других от вашего правления жизненных благ для себя имеет.

– Намекаешь? А на кого?

– Конечно же, на Федора Иваныча Тургенева.

– Нет, – не мог поверить Голицын, – этот прохиндей многим мне обязан, я его, сукина сына, даже в статские советники вывел, звезду на шею ему навесил... уж больно хороша была его дочка! От страсти неземной даже кусаться стала...

Для истории уцелело описание тех приемов, какие применял Голицын для расправы со взяточниками в Московской губернии. Знаменитый историк М. П. Погодин однажды застал в приемной Голицына шеренгу чиновников с самыми кислыми выражениями на лицах, будто их всех целый месяц только одной клюквой кормили. Это были члены Сиротского суда, разоблаченные при ревизии, яко сущие мерзавцы и крохоборы, обкрадывавшие сирот и нищих инвалидов. Вот открылись парадные двери, и вышел князь Голицын, разглядывая через лорнет морды этих хапуг, у которых от страха не только тряслись чиновные шпаги, но даже чиновные треуголки недолго держались в вибрирующих руках, выпадая из пальцев на пол.

– Ну-с, высокочтимые мошенники, – начал князь со всей любезностью, на какую был он способен, – каково соизволите? Или мне живьем поджарить вас на конопляном масле, или добровольно согласитесь толченное стекло жевать? Нашли кого грабить – сироток да убогих, да я вас... вы у меня... и ваши души...

Историк Погодин почти с восхищением выслушал от его сиятельства те самые убедительные словеса, кои произносят московские извозчики, когда увидят, что шлея опять попала под хвост лошади, а слезать с козел им не хочется. Один из чиновников, непомерно пузатый, вдруг стал возвещать, что подобными словами его нельзя ругать при всем честном народе:

– Потому как я состою в чине уже титулярном...

Через лорнет князя он был удостоен особо тщательного обозрения. За сим князь Голицын отступил от него на шаг и, задрвав ногу повыше, предупредил обиженного:

– Ну... держись! Сейчас как тресну в пузо, так из него сразу вывалится все сожранное тобой за счет сироток, а из чина титулярного вмиг вернешься в чин регистраторский...

1831 год дался Голицыну нелегко: сначала Москву навестила холера, потом аукнулось и восстание поляков.

Петербург предписал соблюдение карантин. Москву оцепили, дабы пресечь ее сообщение со столицей и другими губерниями. Князь распорядился выслать из города до сорока тысяч фабричных, ибо в их казарменной скученности усматривал источник заразы. Не знаю, каковы тому причины, но московские уезды беда миновала, зато в самой Москве пришлось срочно строить новые больницы, город в блокаде карантин терпел лишения и дороговизну, почему Голицын и повелел раздавать бедным людям хлеб бесплатно. Не очень-то он верил в “прилипчивость” холеры и, словно желая доказать это другим, безо всякой боязни навещал больницы, утешая холерных, а его бесстрашие передалось и другим жителям. Очевидец тех дней, студент Костенецкий, вспоминал в своих мемуарах: “Страшное было время! Все заперлись в домах и никуда не выходили... Скоро, однако ж, москвичи соскучились, привыкли к холере и мало-помалу убеждались, что от нее еще скорее можно помереть, сидючи в комнатах, об ней только и думая, нежели развлекаясь, и Москва опять высыпала на улицы и зашумела...” Голицын, кстати сказать, платил бедным студентам по 15 рублей в месяц, если они не сидели дома, а помогали ему в сборе сведений о заболевших, если студенты не боялись заходить в дома, спрашивая:

– Эй, живые кто есть? А больных нету ли?

Только управились с холерой, как через Москву погнали в Сибирь участников польского восстания. До этого их долго томили в казематах Варшавы, потом везли со всеми жандармскими строгостями, одежда на них истлела, они голодали, а среди ссыльных были и женщины с детьми. Напрасно Бенкендорф подгонял князя, чтобы этап в Москве не задерживался, – князь Дмитрий Владимирович, напротив, приказал задержать этап в Москве:

– Закон и совесть – вещи разные! Пока я поляков не накормлю и пока не одену их, этап никуда из Москвы не тронется...

В этом много помогла мужу Татьяна Васильевна: женщина сострадательная, она не только свое отдала, но и устроила сбор теплых вещей и мехов среди жителей, а поляки потом долго хранили память о Москве, как о добром городе с добрыми жителями. Между прочим, наблюдение за тюрьмами и бытом арестантов свело Голицына с известным Федором Гаазом, врачом-филантропом, один помогал другому, и, кажется, оба они преуспели в помощи несчастным. Но доктор Гааз никогда не достиг бы своих целей, если бы не его титулованный покровитель. “Независимый и не нуждавшийся в средствах, прямодушно преданный без искаательства, властный без ненужного проявления власти, неизменно вежливый, приветливый и снисходительный, екатерининский вельможа по приемам, передовой человек своего времени по идеям”, – князь Дмитрий Владимирович Голицын, в таких словах описанный гуманистом Анатолием Кони, сделал для участи арестантов то, что не мог бы исполнить доктор Гааз... Мешают тюремщики – князь пишет министрам, министры противятся – пишет императору, Николай I не согласен с ним – князь пишет прямо в Берлин прусскому королю, чтобы воздействовал на свою сестрицу, жену Николая I, а уж она-то “вдудит” в ухо императору то, что нужно ему, князю Голицыну, и что крайне необходимо для русских каторжников, дабы облегчить их страдания в тюрьмах и на этапах... Спрашивается: кто бы стал слушать одного только доктора Гааза? Да никто!

Дочери уже стали замужними дамами, сыновья начинали офицерскую карьеру, а князь Голицын, доверив жене дела Общества садоводства, по-прежнему не избегал женских чар, отличаясь от других мужчин его возраста почти юношескою ветреностью. Балерина Лопухина, ощутив инстинктом женского сердца, что разлука с князем все равно неизбежна, просила

“отступного”, но Дмитрий Владимирович сказал, что лишних денег у него не водится, а какие есть – забирает жена на разведение папоротников и кактусов.

Это никак не устраивало женщину, она заплакала:

– Я отдала вам, князь, все самое трепетное, что имела, и... что же? Так и оставаться теперь в кордебалете?

– Зачем? На прощание я сделаю из тебя богатую княгиню...

Обещал – и сделал! Впрочем, читатель, не надо думать, что Голицын сильно утомился, делая из балерины княгиню. Совсем нет. Был в Москве большой дурак князь Хилков, чуть ли не с детства возмечтавший получить ключ камергера двора его императорского величества, носимый, как известно, на том самом месте, по которому всем людям, начиная от колыбели, дают хорошего шпандыря.

– Будет ключ на самом видном месте, – сказал дураку Голицын, – *если* уведешь под венец балерину Лопухину... Сам-то ты плох, князь, а она порхает, как бабочка. Вот и подумай!

Хилков, даже не думая, сразу согласился. Балерина стала княгиней, а муж ее камергером. Вестимо, что Семен Стромилов, зоил Московской губернии, составил по этому поводу очень едкую эпиграмму на двух князей сразу – на дурака Хилкова, а заодно и на умника Голицына, своего начальника. Дмитрий Владимирович, выслушав стихи, развеселился, потом загрустил.

– Семен Иваныч, – сказал он поэту, вскормленному от пера его канцелярии, – *мне* (!) ты можешь читать все, что напишешь, но... Будь осторожнее, ибо око жандармское в нашей великой империи остается недреманно, а граф Бенкендорф с Дубельтом, словно сычи в ночном лесу, даже спят с открытыми глазами.

Предупреждение было кстати! Как раз тогда, в конце 1837 года, дотла сгорел Зимний дворец в Петербурге, царь с большой семьей скитался по “чужим углам”, как погорелец, и Стромилов не удержался, чтобы не сочинить сатиру на бездомного царя и министра императорского двора князя П. М. Волконского, весьма оскорбительную для обоих. Прошло не так уж много времени, и Голицын однажды поманил автора в свой кабинет, велел ему затворить за собой двери плотнее. Затем дал поэту казенную бумагу:

– Прочти, Семен Иваныч, а поплачем вместе...

Это было письмо Бенкендорфа к Голицыну, которого шеф жандармов извещал о том, что в Петербурге стала ходить по рукам зловредная сатира, известно, что происхождения она московского, а посему автора надобно сыскать, ибо его величество уже распорядился готовить для него камеру в Петропавловской крепости.

– Прочел? – спросил Дмитрий Владимирович.

– Да, – пролепетал сатирик.

– Что ж ты меня подводишь? – сказал ему генерал-губернатор. – Если уж обзавелся талантом, так строчи эпиграммы на меня, на мою жену, но зачем тебе столичное дерьмо ворошить? Я, конечно, на заклятие тебя не выдам, ибо таланты надо беречь, это я знаю. Но сейчас же беги домой так, чтобы у тебя пятки засверкали. И сразу уничтожь все крамольное, иначе, не дай Бог, докопаются до тебя и придут с обыском... Понял?

Чем дальше в лес, тем больше дров! Следующая информация от Бенкендорфа была та самая, что подтверждала подозрения поэта Стромилова, высказанные им ранее. Дело в следующем. Федор Тургенев, который ради ускорения карьеры не пощадил даже своей дочери, лишь бы угодить его сиятельству, решил, что, на всякий случай, не грех заручиться поддержкой самого Бенкендорфа. Исходя из этих благих намерений, он письмом предложил шефу жандармов свои коварные услуги, обещая следить за князем Голицыным – что он говорит, о чем думает, чем недоволен и прочее. Бенкендорф не ахти как благоволил московскому генерал-губернатору, но все-таки переслал это вонючее письмецо обратно в Москву – прямо в руки князя Голицына...

В доме генерал-губернатора был обычный приемный день.

Все московские власти, большие и малые, собрались в обширной зале, дебатировав меж собой о делах губернии, рассуждая, иронизируя, злословя или равнодушно посмеиваясь. Но вот появился и Федор Тургенев, от самых дверей почтительно кланяясь Голицыну, а тот, внешне невозмутимый, вручил Тургеневу его же письмо, собственноручно начертанное для графа Бенкендорфа.

– Душеспасительное чтение! – сказал ему князь. – Вы появились кстати. Вот и читайте... вслух, дабы все знали, а мне-то уж, извините, недосуг было вникнуть... прошу, не стыдитесь!

Тургенев начал читать, едва шевеля языком, в окружении чиновников, смотрящих на него с явной гадливостью, но при этом, читая, Тургенев пятился, пятился, пятился назад “и провалился в двери, чтобы более никогда здесь не являться, – писал очевидец. – Презренный всеми, он еще долго шатался по Мясницкому бульвару, думая только о развороте, и умер, всеми забытый...”

Всем и всегда доступный, гостеприимный, благожелательный, никому зла не делавший – таким предстает сын “пиковой дамы” со множества страниц различных мемуаров, и я не встретил ни одного автора, который бы отозвался о нем дурственно. Это сушая правда, ибо князь Голицын был любим москвичами, а цитировать похвалы Дмитрию Владимировичу, я думаю, нет смысла...

Настал 1840 год – князю исполнилось 70 лет.

Татьяна Васильевна, хотя и моложе супруга, но ходить уже не могла, лакеи возили ее в креслах по комнатам. В дни храмовых праздников к дому Голицыных на Тверской возами доставлялись пряники, конфеты, орехи, тянучки и прочие незатейливые лакомства. Заранее собирался бедный люд, прибегало множество детворы с окраин, и княгиня, сидя в креслах, горстями разбрасывала лакомства с балкона. Она была старуха добрая...

Именно в этом году, будь он неладен, начался голод!

Россию постиг неурожай, а что всем русским – то и москвичам полной мерой. Куль хлеба стоил уже 45 рублей (ассигнациями). Сытно было лишь в приволжских губерниях, но подвоза оттуда не ожидалось. Рассуждения Голицына в эти дни переданы современником в таких словах: “Что делать? Выслать рабочих и фабричных? Но они станут голодать в деревнях, а нам надобно и мужикам деревенским помочь. Что делать?” Обращаться же к высшим властям бесполезно, ибо в Питере сами не свой хлеб едят.

Голицын велел Стромилову:

– Собрать купцов первых гильдий, всех толстосумов, коих в Европе принято именовать капиталистами, пригласить и хлебных торговцев... Я их всех за шулята трясти стану!

Собрались. Бороды у всех – во такие, словно лопаты. Солидно покашливали, косясь на позолоту пилонов, на голых алебастровых бабенок, что безо всякого стыда подпирали колонны княжеских хором.

– Итак, – начал Голицын, отчаянно лорнируя “капиталистов”, – запасов хлеба в городе едва хватит до февраля. Москве не повезло! Долг каждого русского гражданина не сидеть на мешках с золотом, а помочь своим соотечественникам. Пошлем поверенных лиц на Волгу, купим там хлеб, а продавать его в Москве станете так, чтобы о барышах не думать... Я, хотя и князь, но беднее всех вас. Сейчас у меня в наличии всего семьдесят тысяч рублей и не золотом, конечно, а лишь ассигнациями. Из этой суммы я оставляю себе только десять тысяч, остальные же...

Остальные он выложил на стол, после чего московские миллионеры, не прекословя и даже не жадничая, завалили его горами своих подношений. Не прошло и минуты, как подписной лист жертвователей насчитывал уже сумму в 1 300 000 рублей. С Волги подвезли обозы с хлебом, и цена одного куля опустилась до 22 рублей. “Губерния и столица были сыты, кре-

стьяне в деревнях не ели мякины, коры и навозу, как это было в других губерниях, а смертность (в Москве) не возвысилась над обычной...”

Вскоре скончалась Татьяна Васильевна, а князь, овдовевший, получил титул “светлейшего”. Опять по рукам был пущен подписной лист, на этот раз собирали уже не от голода, а от сытости: было решено украсить Москву бюстом генерал-губернатора. Бюст был исполнен скульптором Витали, но вмешался император Николай I, запретивший выставлять его перед публикой.

– С каких это пор, – заявил царь, – вздумали украшать города памятниками живым людям? На это способны лишь сушие идиоты. Вот пусть князь Голицын сначала помрет, а тогда и решим – ставить его бюст потомству в пример или не ставить...

Помереть было недолго, тем более, что Голицына стали мучить боли в мочевом пузыре. Врачи говорили, что началась каменная болезнь. Все чаще ему вспоминался брат Борис, мечтавший сбечь свое имя в Пантеоне русской словесности. Дмитрий Владимирович на своем веку перевидал многих писателей, но литература его мало тревожила. Теперь, страдая от болей, князь однажды раскрыл гоголевского “Тараса Бульбу”...

Тогда был уже февраль 1842 года.

Его навестил профессор Шевырев (ставший родственником князя по жене), и Голицын сказал ему, что Гоголь нравится, он даже согласен дать ему чиновное место в своей канцелярии:

– Степан Петрович, пригласи его на мою службу.

– Не пойдет он. Ленив. Отсыпается.

– И пусть дрыхнет. А я ему за его сны жалованье платить стану. Еще лучше – разбуди его, пусть почитает мне новое...

Чтобы завлечь к себе Гоголя, князь начал устраивать у себя “литературные четверги”. Теперь-то мы знаем, отчего на исходе жизни он вдруг заинтересовался литературой. Из Петербурга ему наказали следить за писателями, чтобы лишнего не болтали, но князь, человек благородный, придумал эти “чтения” по четвергам в своем салоне, дабы успокоить высшие власти своим присутствием. М. А. Дмитриев, племянник поэта (и сам поэт), писал: “Эти четверги князя были самыми приятными... На них мы говорили гораздо свободнее, нежели у нас (в кругу литераторов), потому, что с нами был сам генерал-губернатор... мы никого уже не боялись!” Каждый четверг князь Голицын спрашивал:

– А где же Гоголь? Или он в жалованье не нуждается?

Два профессора, Шевырев с Погодиным, наконец-то взяли Гоголя под руки и “представили его князю словно медвежонка”. Гоголь, не сказав ни слова, спрятал ладони между стиснутых колен, опустил голову столь низко, что гости видели только его затылок, – так и просидел весь вечер, словно подсудимый перед вынесением ему приговора... “Четверги” в доме князя закончились, ибо он хворал, а боли становились уже невыносимыми.

Светлейшего отвезли в Париж, где из пяти врачей только один, испанец Матео Орфила, точно определил болезнь князя – р а к! – и Орфила протестовал против операции, но Голицына все-таки разложили на операционном столе, на котором он закрыл глаза и более уже не открывал их – никогда...

Таков печальный конец жизни сына “пиковой дамы”.

Но боюсь, что окончание моего рассказа будет еще печальнее.

Голицынская библиотека в Больших Вязёмах была уникальной, и нет слов, чтобы пере-сказать о тех старопечатных сокровищах, что хранились в ней с незапамятных времен. Мечта князя Дмитрия Владимировича – основать в Москве публичную библиотеку, которой он хотел подарить свои книги, эта мечта не осуществилась, а в 1919 году из его имения вывезли 25 000 томов редкостной литературы, которая и была разрознена по всяким библиотекам страны. Заодно уж тогда из Вязём вывезли (а частично попросту разграбили) ценности – портреты,

бронзу, мрамор, миниатюры, а в самом дворце Голицыных расположились какие-то конторы бюрократических учреждений.

Наконец в 1949 году в соседнем сельце Захарове, где протекало детство поэта Пушкина, установили памятный обелиск, торжественно объявив, что он имеет “государственное значение”. А рядом погибал и разрушался прекрасный дворец Голицыных – свидетель старой русской истории, но до него никому не было дела, и в захламленном вязёмском парке, когда-то прекрасном, паслись тощие колхозные коровы...

Впрочем, не ради этого я писал. Думается о другом.

Сколько лет я читаю только о разрушениях, но я, пессимист по натуре, уже не верю в то, что чудесные памятники нашего былого можно возродить из руин и праха. Нам, русским, теперь осталось последнее – только вспоминать.

Вот этому я и посвятил всю свою жизнь.

Чтобы вспоминать!

Опасная дорога в Кабул

В ночь на 8 мая 1839 года в дешевой гостинице “Париж”, что находилась на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге, выстрелом из пистолета покончил с собой поручик Виткевич, которому с утра предстояло свидание с императором, и, по слухам, Николай I желал украсить его грудь золотым аксельбантом своего флигель-адъютанта.

В предсмертной записке Виткевича было сказано, что он уходит из жизни по доброй воле, не успев расплатиться за офицерские вещи, взятые в долг из магазинов на Невском, а посему просит вернуть деньги купцам из своего жалованья...

Нагрянула полиция во главе с полицмейстером:

– Навещал ли кто Виткевича? Не было ли женщин?

– Ни женщин, ни вина! – поклялись лакеи. – Правда, с вечера его посетил незнакомый нам человек, который долго беседовал с покойным, и ушел поздно, чем-то явно недовольный...

В номере гостиницы, где Виткевич прожил лишь восемь дней, потухал камин, заполненный пеплом сгоревших бумаг, и, когда кочергой тронули эту жаркую грудку, из нее выбились острые языки синего пламени, жадно уничтожившие остатки рукописей.

– Все ясно, – сказал полицмейстер, которому ничего не было ясно. – Виткевич приехал из Оренбурга, накануне получил чин штабс-капитана, сегодня император собирался вручить ему орден и поздравить с переводом его в нашу гвардию...

В этой фразе отсутствовал даже намек на какую-либо логику! Но хозяин гостиницы даже усугубил отсутствие логики:

– С вечера он был очень весел, просил разбудить его пораньше, дабы подготовиться к торжественной аудиенции в Зимнем дворце... Смотрите, не он ли испортил мне сахарницу?

От крышки серебряной сахарницы был отвинчен шарик, который Виткевич и забил в пистолет – вместо пули. Полицмейстер вдруг хлопнул себя по лбу, что-то вспомнив – очень важное:

– Ба! Виткевич – поляк, и он наверняка знал, что подобным же образом застрелился граф Ян Потоцкий, которого все в Польше чтили как известного путешественника в странах Востока.

– Вы не ошиблись, – послышалось от дверей, – и несчастный поручик Виткевич тоже имел *некоторые* дела на Востоке...

Это сказал, входя в номер, молодой, но уже достаточно полный человек, который не замедлил представиться:

– Лев Сенявин, вице-директор Азиатского департамента при министерстве иностранных дел... Кстати, а где все бумаги?

Полицмейстер кочергой указал на жерло камина.

– Ужас... Боже мой! – воскликнул Сенявин, хватаясь за голову. – Ведь бумагам Виткевича не было цены... от них зависело будущее всей нашей восточной политики – быть в афганском Кабуле нам, русским, или... или Кабул возьмут англичане.

Русские газеты хранили об этом выстреле молчание!

Л. Г. Сенявин известил графа Василия Перовского, оренбургского генерал-губернатора: “Причина самоубийства до сих пор загадка, и боюсь, что она загадкой и останется...” Напророчил он верно: сколько ни гадали потом историки, но так и не дознались о причинах самоубийства Виткевича – на самом всплеске гребня его удивительной карьеры. И почему он прежде, чем поднес пистолет к виску, уничтожил все бумаги, привезенные из Кабула и прочтенные Перовским в Оренбурге?

Ян Виткевич по-русски назывался Иваном Викторовичем.

Ночами мешал спать голодный рев верблюдов, приходивших из степи с вьюками поклажи, а днями надоедало бляение многотысячных овечьих отар, гонимых киргизами в Оренбург на заклание. Перовский раздраженно захлопнул окна своего кабинета, провел пальцем по краю стола:

– Пылица! А новости из Хивы и Бухары не радуют: тамошние владыки призывают единомерцев грабить русские караваны...

Одно из полученных писем, пришедшее из Берлина, он вскрыл ранее всех других. Ему писал знаменитый ученый Александр Гумбольдт, недавно свершивший путешествие по России, и, отложив его письмо в сторону, генерал-губернатор распорядился:

– В гарнизоне Орска служит поляк Ян Виткевич, о смягчении участи которого меня просит сам великий Гумбольдт... Как раз ныне возникла надобность в подыскании офицера для особых поручений, владеющего восточными наречьями. Мне говорили, что Виткевич даже Коран выучил наизусть.

– Но Виткевич не офицер, а лишь солдат. Ссылный!

– Достаточно извещен, – отвечал Перовский. – Но из хорошего солдата сделать хорошего офицера гораздо легче, нежели из дурного офицера – доброго солдата. Виткевича – ко мне...

...Востоком с его причудами русских было не удивить: Россия издревле бок о бок жила с азиатами и до того сжилась с ними, что кое-кто в Европе и русских называл “азиатами”. Иное дело – Речь Посполитая, наша западная соседка, в которую мода на все азиатское пришла не с Востока, а была принесена в Варшаву из стран Европы, где ориентализм имел немало усердных адептов. Среди польской аристократии считалось хорошим тоном совершить путешествие в пределы Востока, изучить какой-либо восточный язык. Достаточно вспомнить графа Вацлава Ржевуского, который через пустыни Аравии забредал даже в таинственный Неджд, откуда и привозил на родину знаменитых арабских скакунов. Имения польской шляхты издавна украшались турецкими киосками, через ручьи перекидывались китайские мостики, а кто не мог завести себе негра или турка, тот переодевал своих “смердов” в бухарские халаты, закручивал на головах лакеев чалмы; варшавянки, вернувшись с королевского бала, складывали свои ожерелья в японские шкатулки, расписанные журавлями...

Среди польских востоковедов-ориенталистов давно славился молодой Ян Виткевич, удачливый жених графини Потоцкой, влюбленный в тайны Востока. За участие в польском восстании он был определен в крепость Орска рядовым солдатом, а его начальники имели наказ свыше: “Бранить не возбраняется, но лица не касаться”, – иначе говоря, Виткевич от побоев был избавлен, но материть его было можно. Перовский, человек высокой культуры, приятель Пушкина, Брюллова, поэта Жуковского и... царя, принял ссылного с уважением, какого он заслуживал.

– Поздравляю вас с чином поручика, заодно предлагаю вам должность моего личного адъютанта. Кстати, можете известить обворожительную пани Потоцкую, что она неосмотрительно скоро вас позабыла, ибо при всех ваших достоинствах вас, милый поручик, ожидает удивительная карьера...

Перовский в это время был озабочен “усмирением” Хивы, но прежде, чем слать туда войска, надобно было выяснить отношения Афганистана и Персии к властям этого разбойничьего оазиса. Поэтому он желал бы видеть своего посланца в Кабуле.

– Вы понимаете, зачем это необходимо Петербургу?

– Догадываюсь, – понятно кивнул Виткевич. – Но для подобных странствий мне предстоит и некоторая мимикрия.

– Например?

– Считайте, что поручика Виткевича более не существует, завтра же вы увидите в этом роскошном кабинете хивинского торговца рахат-лукумом по имени, допустим, Ибрагим-бей.

Неожиданно исчезнувший из вашего кабинета в Оренбурге, этот бритоголовый хитрец и скряга вдруг объявится там, где вам угодно, – в Хиве, в Кабуле или в Мешхеде. Если же вы услышите, что он повешен, так будьте уверены – его повесили... англичане.

– И в этом я не сомневаюсь, – поддержал его Перовский, – и даже могу заранее назвать имя палача.

– Интересно, – улыбнулся Виткевич.

– Это лейтенант Ост-Индской компании, некий Алекс Бернс, который уже побывал в Кабуле... раньше вас, Ибрагим-бей!

– Ваше превосходительство, я... г о т о в!

Виткевич бы готов, но вот готов ли я, ваш автор?

Давно приобщившись к делам Востока, я, когда бы ни касался прошлого Афганистана, всегда поражался сложности политической обстановки в Кабуле, куда, не будучи мусульманином, мне лучше бы и не соваться. По этой причине обещаю быть предельно краток в изложении событий. При всем желании мне, читатель, никак не уложиться в одну-две страницы, чтобы передать то напряжение, какое возникало в горах Афганистана, поневоле ставшего “буфером” между Россией, владевшей Оренбургом, и Англией, стремившейся, чтобы ее колониальные границы оказались на окраинах того же Оренбурга. При этом Ост-Индская компания уже считала Афганистан своим будущим владением, дабы подключить его к своим владениям в Индии. Избавлю читателя от нагромождения афганских имен, трудных для запоминания, но прошу запомнить одно только имя – имя афганского эмира Дост-Мухаммеда, княжившего в Газни и Кабуле (а Кандагар и Герат в ту пору еще не были подвластны Кабулу). Афганистан был раздроблен, а Дост-Мухаммед желал единства страны, и, постоянно предчувствуя угрозу со стороны англичан, эмир все чаще обращал взоры на север, чтобы принять помощь от “неверных”, которым он верил теперь более, нежели соседствующим с ним в Индии англичанам...

Гумбольд недаром восхвалял Виткевича: он удачно проник в недоступные Бухару и Хиву, провел в них русские караваны и с караваном же вернулся обратно под видом правоверного Ибрагим-бея. Поручик был удачлив и ловок. Даже во время перестрелок умел возвысить свой молитвенный голос, взывал к миролюбию Аллаха, после чего выстрелы затихали. Перовский привлекал Виткевича к той дипломатии, которую мне хотелось бы назвать “оренбургской” и которая порой была дальновиднее столичной. Наместник уже принял посланцев Дост-Мухаммеда, и, когда Виткевич вернулся, он поручил ему сопроводить афганское посольство до Петербурга. Так он, еще вчера ссыльный солдат, приобщился к высокой политике. Теперь перед ним пролегла новая дорога – опасная дорога в Кабул.

Перовский облобызал его на прощание:

– Помните, что Алекс Бернс уже в Кабуле и, по слухам, он уже был принят Дост-Мухаммедом. Ваше появление во дворце афганского шаха вряд ли обрадует англичан...

Положение осложнялось еще и тем, что в это же время персидский шах осаждал Герат, который афганский эмир считал своим законным владением, а на Герат претендовали и англичане, уже готовые к захвату этого города. Алекс Бернс был удивлен, когда его известили, что в Кабул едет русская миссия. Он еще раз перечитал инструкцию Уайтхолла: прервать всякие отношения с эмиром, если он согласится на переговоры с русскими или персами. Правда, лейтенант Бернс уже знал, что на путях к Кабулу была устроена засада, чтобы расстрелять всю русскую миссию, но... Перед ним согнулся в поклоне верный слуга-сикх:

– У порога дома моего господина появился незваный гость!

Бернс никак не ожидал, что Виткевич уже в Кабуле, и уж совсем не мог ожидать, что он навестит его с бутылкой русской водки, размеры которой вызвали в нем естественную жажду. Опытный разведчик, Бернс очень умело скрыл свою растерянность при появлении Виткевича в своем доме, но зато не стал скрывать свое искреннее восхищение при виде гигантской бутылки.

– Султани-тизаб? – сказал он, на восточный манер именуя “напиток султанов”, одинаково прославленный и на базарах, и даже во дворцах восточных падишахов. – Большая редкость.

– На Востоке, – отвечал Виткевич на персидском, – от султани-тизаб не откажутся даже муллы, лишь бы не было свидетелей.

Бернс захохотал, отвечая ему на русском языке:

– Ладно. Садитесь, коллега. То, что я нахожусь в этой дыре, можно объяснить коммерческими интересами Ост-Индской компании, но, сознайтесь, вас-то какой черт занес в эту яму?

Виткевич выдержал свой ответ в академическом тоне:

– Россия желала бы помочь афганцам сбросить свободу.

Бернс предложил гостю выпить еще и еще.

– Прекрасно, что наши желания совпадают. Но я не ожидал слышать такие слова от... поляка, которого русский царь гонял по улицам Орска с ружьем на плече. Угодно ли говорить по-английски? Благодарю... Теперь, хлебнув султани-тизаб, я не стану скрывать, что Лондон озабочен тем же, чем и ваша наивная миссия. Как вы думаете, уважаемый мистер Виткевич, сколько еще лет продлится ваша интересная жизнь?

– Вы, конечно, меня переживете, – отвечал Виткевич ему по-английски. – Но переживете меня не... надолго.

– Зато вы, мистер Виткевич, можете прожить Мафусаиловы века, если не станете совать свой нос в этот афганский улей, где полно жалящих пчел, зато очень мало сладкого меду.

Виткевич вызов от Бернса принял с достоинством:

– Иного совета и не ожидал! Впрочем, когда на базаре в Пешаваре начинается всеобщая драка, то никто ведь не просит, чтобы дерущихся обносили сладкой халвой и прохладительным щербетом.

На этом они и расстались, чтобы никогда более не свидеться, но, будучи врагами, и Виткевич, и Бернс успели обменяться меж собою любезными письмами, признавая один за другим немало достоинств...

Бернс при свидании с эмиром предъявил ему ультиматум: удалить из Кабула миссию Виткевича и впредь без санкции Лондона не иметь сношений с Россией, иначе положение Афганистана ухудшится. В ответ ему Дост-Мухаммед отмерил на пальцах не шире одного дюйма:

– Англия вот такая крохотная, и от нас она далека. – Потом развел руки во всю ширь. – А Россия – наша соседка, и она больше слона. Так почему я, живущий в компании муравья и слона, должен муравья сажать на ковер перед своим престолом, а могучего слона гнать от себя палками?..

В апреле 1838 года Бернс покинул Кабул, а Дост-Мухаммед стал принимать на своих коврах Виткевича. Однажды он разрезал для него сочный гранат, насыщенный яркими, словно кровь, зернами и сказал печально:

– Только очень жесткая кожа скрепляет единство этих многочисленных зерен... Не похож ли этот гранат со множеством зерен на мой Афганистан? Как мне, убогому, собрать воедино все “зерна” афганских племен, враждующих между собой? Я знаю, что в вашей России тоже царит множество языков, и глаза у всех женщин разные, но как вы там умудряетесь, чтобы большие “зерна” не раздавили малые? – Вопросив об этом Виткевича, эмир раздавил гранат в кулаке и показал поручику свои руки, красные от яркого сока. – Вот она... кровь!

Иван Викторович – от имени русского правительства – сулил эмиру щедрость царского кабинета, исчисляемую в миллионах, он хлопотал о торговых путях, чтобы от русских ярмарок Нижнего Новгорода шли караваны до афганских майданов. Кажется, ему удалось примирить эмира с враждебными провинциями, чтобы Афганистан, вкуче с Гератом и Пешаваром, в союзе с Россией и Персией, был готов отразить со стороны Индии нападение англичан. Виткевич знал, что писал граф Перовский в Петербург: “Если Афганистан станет английским, то

англичанам до самой Бухары – один шаг. Средняя Азия такова, что способна подчиниться их влиянию, англичане вооружат против нас соседние к нам азиатские народы...”

Через посольство в Персии поручика вдруг известили, что Петербург срочно отзывает его из Кабула – в самый разгар переговоров с эмиром. “Что случилось?” – вот вопрос, которым мучился Виткевич и не мог дать себе ответа. Оказывается, что в мире возникал новый конфликт – между Турцией и Египтом, а Николай I давно мечтал о проливах, Босфоре и Дарданеллах, куда без согласия британского Уайтхолла не проникнуть, и потому царь решил уступить Лондону в делах Афганистана, чтобы англичане допустили его в столь желанные проливы... Николай I однажды спросил своего канцлера Нессельроде:

– А вы не забыли о моем поручике Виткевиче, помните его?

– Конечно, – отвечал “Карлушка”. – Нашему кабинету ничего более не остается, чтобы дезавуировать его как дипломата, который действовал самостоятельно или по личной указке графа Перовского, которые не согласовали свои действия с мнением нашего императорского кабинета...

Об этом Виткевич узнал лишь по приезде в столицу. Чтобы подсластить горькую пилюлю, Николай I потому и желал видеть поручика в столичной гвардии, украсив его орденом и аксельбантом. Внешне казалось, что будущее его определилось.

Вот и настала ночь – последняя ночь в его жизни!

Вечер он провел в гостях у князя Салтыкова, художника и знатока Индии, а вернувшись в гостиницу “Париж” на Малой Морской, надеялся продолжить работу над официальным отчетом о своем пребывании в Кабуле. Но, распахнув дверь, Виткевич увидел, что в номере кто-то уже поджидает его. В потемках комнаты, еще не освещенной свечами, перед ним вдруг выросла зловещая фигура человека. Прозвучал властный голос:

– Не пугайтесь... я – граф Тышкевич, прибывший из Варшавы, чтобы наградить вас пощечиной от имени всей поруганной польской отчины... Вы узнаете меня?

Свечи вспыхнули, осветив лицо знатного аристократа, близкого родственника незабвенной пани Потоцкой, вместе с Тышкевичем он сражался когда-то в Варшаве против русских войск, подавлявших варшавское восстание.

– Да, я узнал вас. Что вам угодно?

– Мне угодно получить записи о странах Востока, которые вы столь усердно собирали еще со времен службы в гарнизоне Орска, и материалы о своем пребывании в Хиве, Бухаре и Кабуле – все это я желаю унести из этого номера с собою.

Это желание было очень странным, и невольно вспомнился опытный Алекс Бернс, обладающий непомерно длинными руками, способными даже из Лондона дотянуться до горла поручика. Виткевич машинально открыл серебряный шарик от сахарницы и подбросил его в руке – высоко-высоко. Поймал!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.